БИБЛИОТЕКА КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА

А. АДЖУБЕЙ



На разных широтах

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1959

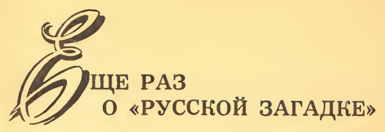
БИБЛИОТЕКА «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» № 8

Алексей АДЖУБЕЙ

НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ

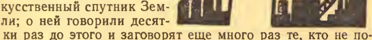
ОЧЕРКИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА 1959 г.



ЕЩЕ РАЗ О «РУССКОЙ ЗАГАДКЕ»

ПИСЬМО ИЗ НЬЮ-ЙОРКА О СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ



Когда покидаешь пределы нашей Родины и встречаешься с иностранными журналистами, политическими деятелями, деловыми людьми, непременно слышишь эти слова. «Русская загадка» не сходила с уст и тогда, когда в небо взлетел первый искусственный спутник Земли; о ней говорили десятки раз до этого и заговорят еще много раз те, кто не понимает нашей советской жизни.

Никогда не забуду, как в Соединенных Штатах Америки, в городе Солт Лайк-сити, в небольшом коттедже нас встретила семья довольно богатого юриста. Дело происходило в конце 1955 года. Эти американцы, окончившие колледжи, выписывающие, наверное, несколько американских газет и журналов, имеющие телевизор и радиоприемник, современный автомобиль и холодильник, играющие в бейсбол и в рулетку — одним словом, считающие себя вполне просвещенными людьми, с неподдельным изумлением рассматривали наши пиджаки, рубашки, галстуки, ботинки, часы, фотоаппараты, запонки, записные книжки, авторучки и даже карандаши и с чисто американским удивлением восклицали:

— О, вери найс! Неужели все это сделано в Советском Союзе?!

Для них все это было «русской загадкой». И, честное слово, расхотелось говорить этим людям о том, что у нас делаются автомобили и самолеты, корабли и прокатные станы, мощнейшие телескопы и подводные лодки и что, наконец, в Советском Союзе есть атомные реакторы, работающие не хуже, а лучше тех, что созданы в Соединенных Штатах Америки.

Прошло три года с тех пор. А сейчас передо мной письмо моего товарища, который находился в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

«Только что,— пишет он,— генеральный секретарь Общества американо-советской дружбы Мирфорд выступил в Нью-Йорке на собрании Общества в Карнеги-холл и сказал, что Национальный совет в последнее время подвергается беспрерывным и все усиливающимся атакам молодежи, требующей новых фактов, статей и документов о жизни и деятельности советской школы. Эти атаки, сказал Мирфорд, объясняются тем, что с первого января во многих американских школах начинаются дискуссии на тему «Что есть полезного в советской системе народного образования». В одной из нью-йоркских школ такая дискуссия была уже проведена. Представляешь себе, — пишет мой товарищ,— как вытянулись лица школьных учителей и инспекторов, когда в подавляющем большинстве сочинений американские мальчишки и девчонки бесхитростно написали: поскольку советская система образования является самой эффективной, мы считаем необходимым предложить федеральному правительству немедленно ввести ее в Соединенных Штатах! Сам понимаешь,— говорится дальше в письме,— это заявление Мирфорда вызвало веселое оживление в Карнеги-холл. Но, хотя американские газеты любят щегольнуть своей объективностью, о самом факте дискуссии и о том, что написали школьники в своих сочинениях, в газетах не было ни строчки».

Итак, к «загадке» спутника и целины, к «загадке» советских пятилеток и тайнам искусства ансамбля Моисеева прибавилась еще одна «загадка» — советская система просвещения. Сегодня, правда, американские мальчишки и девчонки, захотевшие учиться по нашей школьной

системе, выглядят очень наивными, хотя я должен подчеркнуть, что сочинение писали выпускники средней школы. Но время идет, и рано или поздно юные американцы осознают более значительные вещи и поймут, что в их нынешнюю Америку невозможно перенести на крыльях фантазии дела и идеи советской народной школы, которая им так нравится. Они непременно придут к осознанию этого.

Некоторое время назад в одном московском клубе парни и девчата с целины встретились с канадскими фермерами и студентами сельскохозяйственных высших учебных заведений. Один из канадцев, видно, желая подтрунить над трактористом-целинником, спросил его с покровительственным видом: не посоветует ли «господин тракторист», что надо сделать для того, чтобы и в Канаде так же быстро распахать целинные земли, как в СССР? Паренек был, конечно, не очень-то опытен в политических спорах с подтекстом, однако не растерялся. Он немного подумал — видно, представив себе далекий и родной простор целинного совхоза, откуда приехал,— и вполне серьезно сказал:

— Прежде всего, конечно, в Канаде надо установить социализм...

Канадские гости рассмеялись и почему-то не захотели продолжать беседу.

ЧТО ПРОИЗОШЛО НА МИТИНГЕ В ГЕНУЕ

Но вернемся к «загадке» нашей школы. В последние годы советское просвещение действительно занимает умы людей буржуазного мира настолько, что издатели готовы посвящать этой проблеме целые серии книг. Вот и совсем недавно один из крупнейших американских специалистов по педагогике, Джордж С. Каунтс, выпустил очередной труд, озаглавленный довольно символично: «Советское просвещение бросает вызов». Книга полна цитат, ссылок, подчеркиваний, и, хотя вся она в общем-то до предела набита несусветной чепухой, сквозь ее строки проступают растерянность и удивление автора перед культурной революцией, совершившейся в Советском Союзе. Каунтс пишет: «Одно из первых впечатлений, которые складываются у достаточно знающего человека при посещении России или у лиц, изучающих проблемы

русской культуры, состоит в том, что образование и воспнтание поставлены там чрезвычайно широко, как в смысле разработки теоретических основ, так и практнки...»

Признанне прнмечательное. Но Джорджу С. Каунтсу совсем не хочется возвелнчивать наши успехи. Поохав и поахав, он говорит о том, что все это было бы хорошо, если бы не грандиозные жертвы, которые принес русский народ на алтарь культурной революции.

Жертвы, жертвы!..

Я, очевидно, не отвлекусь от темы, если скажу, кстати, кое-что о «жертвах». На Западе трубят об этом на каждом шагу, да позволено будет н нам высказать свое мненне на этот счет.

Помню, в Италии, в Генуе, иа мнтинге, посвященном сорокалетню Великой Октябрьской соцналнстической революции, меня попроснли рассказать о жнзнн н учебе советской молодежи. Я рассказывал, и вдруг в тишине зала, в котором собралось трн тысячи человек, раздался пнсклявый голосок какого-то субъекта:

— Но ведь все это какой ценой! Каких жертв, какнх страданий это стоило! В Россни не однн год затягивалн ремень потуже!

На какие-то секунды в зале стало тихо. Все повернули головы к последним рядам кресел.

Напротив, в полуподвале кннотеатра, в этот же час устроилн свое сборище фашистские подонкн, отмечавшне годовщнну «венгерских событий»: видно, оттуда затесался на наш митннг обладатель голоска папского служкн. И мне никогда ие забыть, как вдруг в этой настороженной тншине поднялся со своего места высокий седой старик и медленно направился в глубину зала, к субъекту, который задал вопрос. Всем нам показалось, что он вот-вот влепит ему оплеуху. Но нет, он распахнул пиджак, стянул пояс с живота и, обращаясь уже не к перепуганному человеку, а ко всем, заговорнл медленно и даже как-то возвышенио.

— Если бы мне,— он поднял высоко над головой ремеиь,— нужно было вот так стянуть себя,— н он иамотал ремеиь на кулак и сжнмал его все туже и туже,— для того, чтобы мон дети окончнлн ннстнтуты, и получилн ремесло, н сталн грамотными н культурнымн, увереинымн в достойном будущем, я бы подыхал с голоду, как соба-

ка, я бы мучился, но я все равно затягивал бы ремень, и оставался бы человеком, и гордился бы собой, и надеялся... Но когда я затягиваю ремень, а ничего не имею взамен, и дети мои должны повторять мой путь и также голодать или еще хуже, вот тогда я говорю: к черту! — И старик, почти не прилагая никаких усилий, рванул двумя огромными кулачищами ремень и с оглушительным треском, будто кто-то выстрелил в зале, разорвал его на две части.

Мы стояли на сцене, потрясенные вначале той удивительной тишиной, которая последовала за этим щелчком-выстрелом, а потом громом аплодисментов и криками «вива!», которыми наградил зал старого итальянца за эту короткую и прекрасную речь...

Мне трудно что-либо добавить к словам этого человека, который трудился всю жизнь, надеялся на лучшее и доживает свои дни обманутым.

Но мы всегда знали, для чего затягиваем потуже свои пояса...

Да, мы не стесняемся, а, наоборот, гордимся, что, отказывая себе во многом, разумно используя свои богатства, заботились в самое трудное время о просвещении, о школе, о культуре. Для людей моего поколения и первые рабфаки и ликбезы — это далекая история. Но разве не вспоминается это сейчас, когда мы совершили новый, огромного значения скачок в развитии народного образования, когда, взяв все лучшее, что накопила советская школа за сорок с лишним лет своего развития, ставим перед ней еще более значительные воспитательные задачи! О них, об этих задачах, несколько ниже. Откуда такие грандиозные возможности, где взяли мы силы?

ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ СТАРЫМ МАСТЕРОМ

Было время, когда наши старшие братья, отцы и матери, усталые после рабочего дня и, может быть, часто голодные, приходили в холодные классы и, до боли сжимая зубы, яростно, именно яростно, постигали азы науки. А возвратившись домой, при свете полуумирающих двадцативатток открывали Толстого и Стендаля, заучивали наизусть слова горьковского Данко и стихи Владимира Маяковского.

Да, черт возьми, мы гордимся тем, что в голодные годы всероссийской разрухи наши отцы, затянув пояса потуже, слали крохи бумаги не на обертку в бакалейные лавчонки (сколько родилось тогда обывательских анекдотов насчет селедок, отпускаемых в тару покупателя, а проще сказать, прямо в руки), а в типографии и школы, рабфаки и ликбезы! Да, мы не сожалеем, что привыкли к галстуку и шляпе чуть позже, чем иные «просвещенные» джентльмены, но зато мы — низкий поклон за это нашим старшим, тем, которые отказывали себе в мелочах,— играли в рабочих клубах Шиллера, устраивали литературные суды над Онегиным и на своих ребячьих баррикадах расстреливали Франко и Муссолини — предателей испанского и итальянского народов.

Мы считали и считаем, что воспитать в человеке благородство, справедливость и любовь к труду важнее, чем научить его расшаркиваться и улыбаться, когда этого совсем не хочется делать.

Мы учились главному в жизни.

О, сколько спесивых слов от иных зарубежных спецов пришлось нам услышать, прежде чем настало то время, когда господина Эйзенхауэра начала мучить бессонница в Белом доме: растревожили сообщения о красной луне на мировом небосклоне! Кстати сказать, тем, первым, холодно доброжелательным специалистам, которые кое-где помогали нам строить заводы, мы платили золотом и посылали к десерту апельсины, те самые апельсины, о цвете и запахе которых миллионы наших мальчишек и девчонок не ведали в тяжелые годы начала великой стройки социализма.

До сих пор я помню историю, рассказанную старым мастером одного московского завода. В тридцатые годы ему пришлось быть в группе рабочих, которые выиграли у крупповского специалиста золотые фунтовые часы.

Дело было так. На завод прибыл из Германии стан по холодной прокатке тонкого стального листа. Представитель Круппа уведомил, что его установка займет три месяца. Партком и дирекция завода поставили перед рабочими иной срок — три недели.

Три недели для парней, по складам, подобно малолеткам, читавшим чертежи!

— Три недели! — возмутился немецкий инженер, обладатель несчетного числа золотых, серебряных и брон-

зовых дипломов и свидетельств.— Это невозможно! Это небывало! Собирайте сами, а я умываю руки. Я не сумасшедший. Я могу поспорить на что угодно, что это невозможно!..

И тут-то и были выложены золотые часы — подарок самого Круппа. Обладатель часов был уверен, что не проспорит.

И три недели люди не спали, не ели досыта. Груды книг были разбросаны по полу цеха. Уговорили прийти старика, преподавателя алгебры из рабфака, и сделали его главным научным консультантом. Чертили на снегу огромные схемы, мучались, ругались, отчаивались и... собрали машину. И не потому, конечно, что хотели выиграть крупповский «будильник»! Немец, как побитая собачонка, выклянчивал его у победителей обратно, утверждая, что «фрау выдерет ему за легкомысленный поступок волосы». Часы вернули, конечно, и немец, уезжая, плакал, и, как острили ребята, «его бедные слезы капали на крышку золотого будильника».

Как знать, может быть, этот самый немец и произнес фразу, ставшую теперь столь модной на Западе, — «русская загадка»?

Кто подсчитает, чего стоили этим парням три недели и тридцать три других, наполненных жаждой свершений и жаждой знаний! И кто подсчитает, что дали они им! Обогащался не только мозг, накапливая величайшие сведения из физики и математики, химии и биологии, истории и литературы, философии,— делались шире души, тверже воля, и убежденность, коммунистическая убежденность была венцом этого титанического процесса воспитания новых поколений.

Труд на благо народа был первым учителем народа!

Вместе с ростом нашего государства росла советская школа. И дело тут не только в том, что с каждым годом строилось больше школьных зданий, что педагогические институты выпускали из своих стен сотни тысяч прекрасных преподавателей.

Подумайте только, сейчас в Советском Союзе два миллиона учителей! Количество, равное народонаселению целого государства!

Советская школа вырабатывала не только свои принципы обучения. Она рождала и претворяла в жизнь новую, коммунистическую систему воспитания. Еще Михаил

Иванович Калинин говорил, что процесс воспитания шире непосредственного процесса обучения. И когда сегодня советская школа привлекает к себе миллионы умов во всем мире (вспомните школьников из Нью-Йорка), когда даже стойкие апологеты буржуазного мира в почтении снимают перед ней шляпу, эти люди, сами подчас того не понимая, признают тем самым советскую систему воспитания молодежи. Они (да-да, как ни странно вам это слышать, господа!) снимают шляпу перед коммунистическими идеями!

МАТЕО ФАЛЬКОНЕ И ПАВЛИК МОРОЗОВ

Можно смело сказать, что советская школа дала миру не одного великого математика, физика, астронома, музыканта, художника. Но если бы это было только так, мы бы не гордились нашей школой, не отдавали ей все лучшее, не возвеличивали бы так ее скромных и милых тружеников — учителей, имена которых мы помним все годы жизни, как имена самых близких и родных людей.

В том-то и дело (может быть, в этом и «загадка» советского просвещения, господин Джордж С. Каунтс?), что советскую школу отличает от всех других школ мира ее счастливая способность вырабатывать в сознании юношества коммунистическое мировоззрение, воспитывать подлинно благородные характеры.

Иными словами, какие бы за рубежом комитеты ни создавали для того, чтобы перенять опыт советской школы, из этого, видимо, ровно ничего не получится. Как не получится с целиной у канадских фермеров. Не хватает, к сожалению, главного — того, о чем сказал тракторист-целинник...

Джорджа С. Каунтса и иже с ним особенно, можно сказать, до ужаса беспокоит то, что конструкторы первых искусственных спутников Земли и баллистических ракет тоже окончили советскую школу. Это беспокойство понятно. Недаром один буржуазный профессор остроумно заметил, что если бы из Америки в один прекрасный день вывезли всех ученых неамериканского происхождения, то от американской науки остался бы пшик. Не секрет ведь, что американскую науку делают немцы, шведы, итальянцы, французы, англичане...

Но не надо забывать, что советскую школу окончили и Зоя Космодемьянская, и молодогвардейцы, и Матросов, и челюскинцы, и астронавты, первыми в истории взлетевшие на двадцатикилометровую высоту, и те, кто совсем скоро поведет сквозь вековые безмерные льды Арктики атомоход «Ленин».

Саша Матросов, останься он жить на земле после войны, мог бы стать конструктором искусственного спутника Земли, так же как молодой конструктор спутника, если вновь придет на нашу землю грозный час, закроет своей грудью амбразуру вражеского дзота.

На митинге в Генуе я рассказал трагическую историю Павлика Морозова, которую знает у нас каждый школьник. Помню, какая-то фашистская газетенка принялась после этого травить нашу делегацию, утверждая, что «советское образование воспитывает людей, способных доносить на родителей».

А мне вспомнился рассказ Проспера Мериме «Матео Фальконе». Помните, там почти такой же мальчик, как Павлик, прячет в стоге сена возле своего дома пастуха, спасавшегося от преследования. А потом, польстившись на часы, предложенные сержантом в виде приманки, выдает его. Отец, узнав, в чем дело, расстреливает своего сына-предателя.

Рассказ этот не выдумка Мериме. Случай, описанный им, был известен на Корсике как вполне реальный. Образ Матео Фальконе, отца, убивающего своего сына-предателя, стал одним из самых героических в мировой литературе. Но только ли некоторой нравственной аналогией связаны эти два трагических факта, отделенные друг от друга ровно сотней лет? Если вдуматься, Матео и Павлик Морозов не похожи один на другого. На Корсике взрослый, уже умудренный жизненным опытом человек, стыдясь и страдая, что сын, пусть еще и ребенок, способен на предательство, убивает его. Павлик, юный человек, разоблачает отца-врага и гибнет от руки взрослых, убежденных, что из него вырастет сильный, смелый, гордый противник.

Откуда пришла к Павлику такая сильная, жертвенная убежденность, такая способность политически зрело судить о вещах, в которых подчас не каждый и умудренный жизненным опытом человек способен разобраться столь же правильно и решительно?

Тем, кто судит о явлениях нашей жизни, подобно итальянской газете, обвинившей пионера в «доносе на родителей», никогда не понять главного: Великая Октябрьская социалистическая революция вызвала к жизни необычайную активность народа. Она для каждого сделала ясной истину: кто не с нами, тот против нас! Идеи революции, ее традиции переходят из поколения в поколение, не затухая, а все более разгораясь.

Эта революционная преемственность подтверждалась не раз делами молодого человека Советского Союза. События самых последних лет, когда почти два миллиона юношей и девушек покинули родные дома, благоустроенные города и отправились на целину, в таежные дебри, в степь и на колхозные фермы,— это «русская загадка», это — свидетельство клятвенной верности младших высоким и ответственным идеалам своих отцов.

В спорах и разговорах о нашей молодежи, о ее облике, ее лице, которые приходится вести с зарубежными гостями, довольно часто слышишь такое: «Вот вы все говорите о хороших людях, об их возвышенных, прекрасных чертах. Но ведь вашу школу окончили и люди плохие, никчемные. Как быть с ними?» Было бы смешно говорить, что у нас нет людей, совершающих дурные поступки, что неизвестна нам человеческая дрянь. Да, подчас советскую школу оканчивают, к сожалению, и те, кто дезертирует потом со строек и презирает труд, празднует труса или подводит товарищей. Но вот история, которая, может быть, лучше, чем другие, покажет, в какое положение попадает у нас паршивый человек.

ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ О ГЕРОИЗМЕ И НИЗОСТИ

Об этом написали в «Комсомольскую правду». Началось все в сибирском городке. Началось, так сказать, банально. Он и она. И она, кажется, немножко любила его. Правда, как всем юным людям, им трудно было разобраться в этом до конца.

Однажды группа парней и девушек отправилась на реку. Купались, играли в волейбол. Он дал ей фотоаппарат «Зоркий» и попросил сделать несколько снимков на память. Потом они возвращались высоким берегом реки в город. Друзья поотстали от них. Вдруг девушка

увидела дым над одним из домов. Не раздумывая, она бросилась вперед и закричала: «Бежим, бежим! Там пожар!» Ухажер был труслив и не очень поспешил за ней. Когда он подбежал к дому, девушка уже исчезла в дыму и пламени.

Когда она выскочила из горящего здания, платье ее было прожжено, волосы обгорели и на руках краснели ожоги. Но она вытащила из огня маленького мальчика. Она пошла со своим молодым человеком домой, и, уже прощаясь, он спросил: «А где же фотоаппарат?» И только тут она заметила, что фотоаппарата нет; она, видимо, где-то потеряла его в пылавшем доме.

И «закрутилась» история! Папаша этого юноши (как говорится, яблоко от яблони недалеко падает) стал требовать, чтобы фотоаппарат был возвращен, но аппарат исчез в огне. И тогда по настоянию отца сын обратился в суд... с исковым заявлением: он требовал фотоаппарат или денежное возмещение.

К отцу этого паренька обращались десятки людей, предлагая ему свои деньги, его просили отступиться от девушки, говорили, что все это позорно. Но он был «принципиальным человеком» и хотел получить либо фотоаппарат, либо деньги.

Состоялся суд. И судья, как ему ни хотелось, вынужден был по букве закона вынести решение, которое обязывало девушку вернуть деньги.

Девушка уехала из этого городка, где воспитывалась в детском доме и где училась, получая маленькую стипендию в лесном техникуме. Она уехала в леспромхоз, чтобы заработать и вернуть деньги. Она тоже хотела именно сама вернуть эти деньги.

Возмущенные парни и девчата написали письмо в газету об этом гаденьком человеке и его отце.

И знаете, что случилось?

Как только «Комсомолка» рассказала эту историю, и девушка и редакция стали получать десятки, сотни писем, полных гнева и презрения к этим трусам и подлецам. В письмах были не только убивающие слова. В письмах были наскоро, видимо, собранные школьниками помятые пятирублевки. Школьники писали: «Отдайте ему наши деньги». В редакцию приходили сотенные переводы с дальних северных зимовок, из геологоразведочных экспедиций, с кораблей и заводов. И переводы тоже заканчи-

вались строчкой: «Отдайте ему...» Шли посылки — фотоаппараты, штативы, объективы,— и десятки людей писали: «Отдайте ему...» Один из этих фотоаппаратов девушка прислала в редакцию. А в редакции решили назвать фотоаппарат «Зоркий-Дружба» и пустить путешествовать его по стране. И много месяцев «Зоркий-Дружба» переезжал из города в город, летал на Северный полюс и в Индию, на целину и стройки комсомольских шахт. И пленка, снятая им, приносила нам потрясающие документы об истинном лице нашего поколения.

Нельзя без волнения смотреть эти фотографии. Это портреты молодых людей, прошедших советскую школу в широком смысле слова. Естественно, они отличаются от тех, что донесла нам история 20—30-х годов. У советского молодого рабочего, колхозника, учащегося нет на голове островерхой буденовки или лихо заломленной набекрень кепки, он снят не возле тачки и не с лопатой или киркой в руке. Он стоит рядом с 25-тонным самосвалом, шагающим экскаватором, на мостике самоходного комбайна, за штурвалом быстроходного катера, управляет умной электронной машиной и сложным станком-автоматом, склоняется над точными физическими и химическими приборами, выступает в дискуссионном комсомольском клубе, сидит с любимой в театре или взмывает на стадионе над планкой, установленной за отметкой мирового рекорда.

Если будет нужно, молодой советский человек наденет теперь и смокинг и модно повяжет галстук — эта наука, прямо скажем, не сложнее тех, которыми он овладел.

И хоть в лице его и сохранилась прелесть бесшабашной улыбки Павлика Корчагина, но прибавилось еще что-то такое, чему позавидовал бы и Павка. Это лицо человека образованного и культурного.

И вдруг, как снег на голову, в душный нью-йоркский ноябрь господа каунтсы получают новое известие из Советского Союза: произошла реформа народного образования. «Что случилось? — спрашивает себя Джордж С. Каунтс, сей ученый специалист по «русским загадкам».— Только что так много хороших слов было сказано о советской школе, о советских вузах, а теперь в СССР разрушают то, чем так гордились?»

Правда, господин Каунтс — надо отдать ему долж-

ное — предупреждал своих читателей: «Методы советского образования и просвещения менялись в прошлом, меняются и сейчас и будут, без сомнения, меняться и в будущем. Но направляющие идеи и всеобъемлющие цели его способны, видно, удивительным образом противостоять разрушительному действию времени». И все-таки!.. Все-таки!.. Опять «загадка»!

Стало быть, глубокомысленные замечания американского педагога о законах развития советской школы еще не свидетельство понимания этих процессов.

В ЧЕМ ЖЕ СМЫСЛ ПЕРЕСТРОЙКИ ОБРАЗОВАНИЯ

В центре внимания миллионов советских семей наряду с самыми значительными событиями оказался закон о перестройке народного образования. Этот документ горячо отозвался в сердцах миллионов людей. Каждая семья думала о своем сыне или дочери, заботилась о том, чтобы лучше, интереснее, правильнее сложилась жизнь у юного человека. Этот документ вызвал огромное одобрение еще и потому, что в нем люди увидели зримые черты того главного, во имя чего они сами работали и учились, во имя чего отказывали себе во многом.

Если грандиозные цифры семилетки определяют экономический фундамент коммунистического общества, то перестройка народного образования закладывает основание для роста и развития человека эпохи победившего коммунизма.

Перед школой — от начальной до высшей — ставится теперь задача воспитания человека коммунистического общества. Те, кто учится сегодня или пойдет в школу завтра, совсем молодыми, полными жизненных сил людьми придут в коммунизм. Вот почему в миллионах сердец и цифры семилетки и положения о перестройке народного образования связываются и понимаются как единый процесс экономической и духовной подготовки общества к новым историческим свершениям.

Именно в силу того, что советская молодежь, Ленинский комсомол, весь народ так мудро соединили в своем уме, в помыслах и делах эти два величайших документа, мы явились свидетелями развития великого народного почина — рождения бригад коммунистического труда.

Эти бригады — провозвестники близкой победы коммунизма — уже соревнуются по всей стране. В обязательствах бригад соединены такие принципы: высокопроизводительный труд, учеба, связанная с трудом во имя улучшения этого труда, и борьба за высокую коммунистическую мораль и нравственность. Как в свое время социалистическое соревнование было лозунгом, который народ выдвинул в ходе строительства социалистического общества, так коммунистическая бригада — лозунг, который поможет людям создавать коммунистическое общество.

В чем же состоит то главное, что определяет лицо новой советской школы? Тут важно отметить, что никто не собирается разрушать те большие, прошедшие испытание временем завоевания, которые уже имеет наше народное образование.

Только безмозглые болтуны из буржуазных газет, успокаивая самих себя, могут считать, что советская школа будет давать теперь меньше знаний или что кардинально изменятся ее воспитательные функции. Напрасные мечты!

Если наша школа создала молодого человека социализма, стойкого и отважного, как Зоя Космодемьянская, Виктор Талалихин и как тысячи и десятки тысяч других, молодого человека, вооруженного огромным запасом знаний, строителя синхрофазотрона, реактивных самолетов и миллионовольтных гидроэлектростанций, то советская школа новых, грядущих лет приведет к рождению еще более сильного духом человека — человека, более знающего, человека, который непременно покорит Луну, пройдет по дну Мирового океана, построит новые, еще более прекрасные города, атомные электростанции и многое другое.

Наша школа дает знания не для того, чтобы они выделялись из общей массы, не для того, чтобы они пользовались знаниями в смысле противопоставления их труду, в том числе и физическому. Знания необходимы именно для труда. Красной нитью сквозь документы о перестройке школы проходит эта мысль. Не только вообще знать цену вещам, но уметь и хотеть создавать их — вот закон советской жизни.

Вот почему после окончания обязательного восьмилетнего обучения — а восьмилетняя школа даст более

прочные и более глубокие знания учащимся, чем семилетка,— все молодые люди без исключения, независимо от положения и материальной обеспеченности их родителей, обязаны будут связывать свою дальнейшую учебу с трудом: либо в политехнической трудовой школе с профессиональным обучением (ее мы называем одиннадцатилетней), либо в сменной школе рабочей и сельской молодежи. Техникумы и институты подчиняют свою работу этой задаче, и, таким образом, в самом характере воспитательного процесса еще сильнее подчеркивается необходимость труда, еще больше возвеличивается значение трудящегося человека. Этого не может сделать ни одна другая школа в мире, кроме школы социалистической, потому что только в социалистических странах человек является главным человеком общества.

Сотни лет в умах лучших мыслителей мира зрели идеи этого великого процесса — братания знаний и труда. В нашей стране все крепче и крепче рукопожатие науки, пусть самой сложной, и ремесла, пусть самого простого. Советский Союз — родина интеллигентного рабочего человека, высококультурного, образованного. У нас с одинаковой гордостью говорят: мой сын — токарь, мой — инженер. Но мы хотим еще более, вплотную приблизить школу к жизни. Мы хотим, чтобы в классах слышались и звуки флейты, и стихи Гейне, и формулы термоядерных процессов, и песни токарных станков, чтобы сливались воедино запахи химических реактивов, цветов и свежеструганого дерева.

Когда-то советский народ мечтал о такой школе и строил ее. И она создается теперь. Миллиарды рублей дополнительных ассигнований щедро отдают трудовые люди своим детям — своему будущему, своей надежде.

— Как же это так,— процедит кое-кто на Западе сквозь зубы,— сорочек белых, нейлона маловато, а они все бухают и бухают деньги на школы! «Русская загадка»!..

Снова о «жертвах»? Что ж, коли так, я снова вспомню старика-итальянца, выступавшего на митинге в Генуе. Он соглашался затягивать пояс потуже ради того, чтобы иметь в конце концов то, что хочется. Если «загадка» русских в их идейной самоотверженности, то можно смело сказать, что такую-то загадку мог бы загадать и любой

другой народ, который начал бы строить свою жизнь так, как ему хочется.

Простые люди, отцы и матери Америки и Японии, Швеции и Египта, Испании и Турции уже понимают это и говорят: нет никакой «русской загадки», мы знаем теперь, в чем дело, и придет час — у нас будет такая школа! Даже если придется на какое-то время затягивать пояс потуже! Разве не отказывает себе в сладком тот, кто копит деньги на постройку дома?

Мы построили свой дом. И сегодня, перестраивая свою школу, мы не идем ни на какие жертвы — вот чего никак не могут понять ученые господа! Мы делаем это не от скупости, а от щедрости, не от бедности, а от богатства, от глубокой веры в будущее. Реформа народного образования в нашей стране — результат не кризиса, а заботы. Тот, кто это поймет, отыщет ответ и на эту очередную «русскую загадку».

ОГНЕННЫЙ ТРАКТОРИСТ

Всегда любопытно перелистать старые газеты. Их пожелтевшие листы как бы сохраняют аромат времени со всеми его страстями и стремлениями. В броских заголовках и подборках вы всегда почувствуете, чем жила страна в тот или иной день своего развития, и даже за скупыми строчками небольших сообщений сможете угадать событие большое и волнующее. В одном из таких старых комплектов «Комсомольской правды» тридцатилетней давности я обнаружил на первой странице маленькую заметочку под заглавием «Огненный тракторист».

Вот она, эта заметочка:

«Нет, это — не преувеличение: тракторист Петр Дьяков в самом настоящем смысле слова был трактористом, который пылал на работе огнем энтузиазма и который мученически сгорел у своего трактора.

В Ишимском округе организовалась коммуна «Новый путь». Одним из ее энергичных организаторов и был комсомолец Петр Дьяков.

Коммуна крепла под яростный скрежет кулаков. Кулаки вообще были недовольны организацией этой ком-

муны, а кроме того, коммунарам еще удалось отобрать бывший у кулацкой артели трактор.

Заправилами коммуны были комсомольцы, и комсомольцы же, во главе с Петром Дьяковым, перетащили трактор от кулаков в «Новый путь».

Коммуна быстро стала на ноги. Окрестные крестьяне уже с интересом приглядывались к ней и все решительнее поговаривали о необходимости организации еще нескольких таких коммун.

Все это разжигало кулацкую злобу и ненависть к коммунарам. Особенно же косились кулаки на Петра Дьякова:

— Это он, дьявол, всех мутит!

И вот ночью 2 июля, когда Дьяков работал на тракторе в коммунарском поле, на него наскочила кулацкая шайка бандитов.

Дьякова сшибли с ног, раздели, избили до потери сознания, а потом облили керосином и подожгли. Факелом пылал тракторист-комсомолец, освещая колосившиеся поля коммуны».

А помните песню поэта Ивана Молчанова:

По дорожке, по ровной, по тракторной,
Все равно нам с тобой по пути,
Прокати нас, Петруша, на тракторе,
До околицы нас прокати.
Прокати нас до речки, до лесенки,
Где шумят серебром тополя,
Запевайте-ка, ленинцы, песенки
Про колхозы, про наши поля.
Не полита дождем, не побрызжена
Полоса наша в дальнем краю.
Кулачье на тебя разобижено,
На счастливую долю твою.
Им бы только ругаться да лаяться,
Злоба льется у них через край...
Кулачье до тебя добирается,
Комсомолец лихой, не сплошай!

В те не такие уж далекие времена поэзия не находила ничего предосудительного в том, чтобы мгновенно откликаться на жизненные случаи. Так была написана эта песня. Она долго оставалась на боевом счету у молодых запевал, потому что стоила признания. Ведь многие в те годы знали, что Петруша не просто имя собственное, больше других полюбившееся поэту, а что идет в песне

речь о том самом Петре Дьякове, трагическую историю которого сообщила газета.

Но это лишь о песне. К чему же все это рассказано?

Из целинного совхоза «Урицкий», что находится в Кустанайской области, я спешил по заданию редакции на маленькую станцию Голышманово, в 215 километрах за Тюменью. Здесь я должен был выяснить необычайно интересную вещь. Какую? На станции, на элеваторе, работал Петр Егорович Дьяков. Но тот ли это Дьяков, о ком пелось в песне и о ком рассказывала «Комсомольская правда»?

Мертвые не воскресают, и я до последней минуты не верил, что человек, с которым увижусь, действительно «огненный тракторист». Я сомневался до тех пор, пока сам Петр Егорович Дьяков, живой и невредимый, не сказал мне:

— Да, я тот самый.

Мы сидим с Петром Егоровичем в маленькой комнатке. В окна склоняются еще не увядшие нарядные шапки подсолнухов. Издалека доносится ритмичное постукивание моторов. На элеваторе сушат зерно нового урожая.

Урожай в 1956 году особенный, связанный с благодатными дарами целины. И хотя в Тюменской области поднято новой земли не много, праздничное настроение чувствуется и здесь. И здесь богатый урожай. Ревут многотонные грузовики, сплошной вереницей двигаясь к воротам элеватора; люди спешно принимают хлеб на весы, разгружают его. Они запыленные, усталые, но не злые, как бывает, когда делается дело тяжелое и нерадостное вместе с тем, а приподнято-возбужденные. Человеческие голоса, звонкие, требовательные, врываются в металлические шумы на элеваторном дворе. Они доносятся и до домика, где живет Петр Егорович. Он прислушивается к этим близким для него шумам и по ним хорошо понимает, что происходит на элеваторе, в нескольких сотнях метров от него, как там идет дело, спорится оно или нет. Петр Егорович молчит, поглядывая в окно.

Чтоб не сбивать его мысль, я разглядываю стены комнаты. На них вся история этой простой хорошей семьи: множество фотографий дедов, бабок, сыновей, дружков, грамоты и разные свидетельства в узорных рез-

ных рамочках. Тут же приколоты ордена Красной Звезды, Отечественной войны и медали.

Петр Егорович курит. Терпкий, кисловатый запашок махорочного дыма наполняет комнату. Сизоватая с коричневым струйка, гонимая ветерком, возвращается с улицы, ползет по стене, забирается под потолок и там медленно тает в ранних розоватых лучах солнца.

Петр Егорович оборачивается ко мне.

— Рассказать, значит, надо? — говорит он тихо, скорее самому себе.— Ну, простите, что вспомню, то вспомню, а забыл — не корите.

Недалеко отсюда это произошло, километрах в тридцати, в селе Усть-Ламенке. Время-то было для крестьянского народа муторное, прямо сказать. И непонятного много было, и руки чесались по большому делу. Чувствовали люди, что в одиночку не совладать им со своим хозяйством, не поднять его. Мы, молодежь деревенская, очень хотели городу помочь. Видели мы, как город изо всех сил в работу впрягся. Идея коллективизации, как это ученые говорят, она ведь каждому из нас в сердце своей дорожкой приходила. К одному прямо шла, и безо всяких колебаний человек эту идею принимал, другой сомневался, мучился, боялся, как бы не рухнуло все прежнее, привычное для него. Мы молодыми тогда были, первыми в драку лезли, первыми все хотели познать.

Приятель у меня был, Голодков Николай Павлович,— продолжает Петр Егорович.— Кулаки его, как степенного, пригожего мужика, на тракторе выучили работать. Мы, бывало, над Николаем Павловичем издеваемся: что, мол, ты запродал свою душу кулачью, машину у них трескучую водить будешь. А дядя Николай, как мы его тогда звали, хотя и немного постарше он нас был, отвечает: «Ничего, братцы-молодцы, выучусь, неизвестно, кому на пользу будет».

Однажды пришел он ко мне в дом и говорит: «Знаешь, Петя, за Армизоном где-то, говорят, крестьянские парни коммуну организовали, «Красные орлы». Все у них честно и поровну: и труд и довольствие от него. Крепко себя люди чувствуют. В гору у них жизнь двинулась. Нужды не видят, беды не боятся, силу в себе чувствуют. Ты бы смотал туда, в «Красные орлы», поглядел, авось, и нам пригодится».

...Улыбается, покачивает головой Петр Егорович.

— Хорошие девчата были в «Красных орлах», веселые такие, заливистые! Встретили нас, как делегатов каких, все показали, что и к чему у них в хозяйстве. А когда провожали, такими словами напутствовали: «Далеко вам, хлопчики, до «Красных орлов». У вас,— говорят,— кулаки всех парней в воробьев превратили». Отбрехались мы от девчат, к себе в деревню вернулись. И накрепко у нас засела думка свою коммуну строить. Да как ее построить? Ни лошадей, ни орудий никаких не было. И тогда-то вот дядя Коля, кулацкий тракторист, и подскажи нам мысль одну.

И Петр Егорович не спеша поведал мне, как решили деревенские ребята — Николай Голодков, Павел Федоровский, Иван Герасимов, он сам да и другие, имена которых уже и не помнит,— организовать в Усть-Ламенке коммуну наподобие «Красных орлов». Перво-наперво решено было отобрать у кулаков для коммуны трактор.

— Трактор у кулаков для коммуны мы не просто добыли. Пришли к одному во двор — нет. К другому — тоже нет. Аж удивились: вчера только был трактор. Мельников — его потом судили — зло так гаркнул: «Чего ходите, продали мы трактор, не нам и не вам!» И выругался солено. Мы втроем за трактором ходили: Павел Федоровский, Иван Герасимов и я. Дружками были, вместе в коммуну вступали, в комсомол. Что делать? Вернулись. Рассказываем своим: нет трактора. Приуныли коммунары: больно на машину рассчитывали.

Вечером в тот же день пришел нашей грусти конец. Рассказали нам деревенские по секрету, что кулаки разобрали машину и в землю зарыли по тайным местам. Кинулись мы разыскивать ее. То колесо, то мотор найдем. Эх, потеха! — качает головой Петр Егорович.— Додумались же черти, трактор в землю!

Он говорил беззлобно, как будто участвовал в свое время в веселой игре.

— А у нас, у коммунаров, договор был: кто больше отыщет, тому и стать первым трактористом. Я больше всех нашел, повезло.

Помню, собрали трактор. Двинулся за село в коммуну. Мать кулака Мельникова уцепилась за трактор. «Не пущу!» — кричит. Тронул я, а старуха держится, жилистая такая. Слезы у меня, поверьте, на глазах, плачу, а не остановил, хоть и жалко ее было, старую женщину.

Отцепилась она, поднялась, прокляла меня при всем народе, вслед плюнула. А сынок ее подбежал и злобно так проговорил на ухо: «Ну, Петька, поплачешь еще и красными слезами!»

Не придал я значения его словам: не до того было. Хорошо зажили мы в коммуне с трактором, весело хозяйство пошло. А вскоре Мельников исполнил свой зарок. Пахал я пары ночью. Темным-темно вокруг, только мой тракторный глазок и освещал дорогу.

Скупо, будто вновь и боль к нему вернулась, рассказывает Петр Егорович. Я не тревожу, не тороплю его. И видится за его словами черное, прикрытое беззвездным пологом небо, силуэт маленького «фордзона» и фигурка тракториста. Слышу, как подъехали к нему какие-то люди.

«Не шалите, ребята,— еще не понимая, в чем дело, сердито кричит Петр.— Сойдите с пути, пашу ведь!» Но люди не сторонятся. Вспыхивают далекие зарницы. Кто-то у горизонта чиркает огромными спичками, словно хочет часом раньше подпалить солнце. Ах, солнце, солнце, ты встанешь в положенный час, а сейчас темень на коммунаровом поле, и один Петр Дьяков на нем!

Чья-то рука дернула тракториста за ногу, его стащили с машины, повалили в борозду.

«Лей, лей, лей!»— услышал Петр хриплый голос и все силился вспомнить, чей же этот голос, еще не понимая, в чем дело. А потом что-то холодное обволокло его тело. Он начал биться изо всех сил, пытаясь выскользнуть из цепких рук многих людей, придавивших его к земле, потому что понял: беда пришла.

«Трактор захватил, собачий сын! — шептал все тот же человек.— В голову его, в голову, насмерть бей!» Удары сапог, железных прутьев сыпались на Петра. Он молчал. И только вдруг вместе со слезами почувствовал на губах вкус керосина. «Зачем это?» — мелькнула мысль. Не успел он ответить на нее, как что-то ледяное полыхнуло по спине, и тут же дикий жар захлестнул всего. Он горел. Он знал, что горит. Он хотел вырваться, побежать, биться о землю. Но убийцы держали его, пока могли, чтобы он не стряхнул с себя пламя.

Петр не потерял от ужасающей боли сознания и все прижимался к борозде и думал: «Сердце, сердце, сердце» — и, спасая сердце, старался уйти в землю.

Враги выпустили его, когда он перестал двигаться.
Кто-то пнул сапогом тело:
«Готов...»

— Если б утром я на чуток в себя не пришел, стало бы мне могилой вспаханное поле. Но очнулся я. Очнулся и пополз к большаку. Уже не человеком я пополз к большаку. Рассказывали мне потом, красный след по земле стлался. Подполз к большаку, тронул рукой теплую пыль на дороге и память потерял. Помню только, позже уже посадили меня на вершню, верхом значит, и повезли в коммуну.

Оглядели там и посчитали погибшим. В больницу повезли так уж, для облегчения души. Оставили в больнице «покойником» и в село вернулись, сказали: «Нет больше нашего Петьки-тракториста». Так и пошла молва обо мне, о погибшем. А я жить хотел, молодой был. Вот взгляните, какой дубок. И Петр Егорович протянул мне фотографию. Это я в двадцать седьмом снят с дружками, слева Иван Герасимов, справа Иван Черпякин. Бумага в руках у меня — заявление о приеме в коммуну.

С фотографии смотрит и в самом деле богатырь. Кряжистый, лицо открытое, ясное, но упорное, сильного человека лицо. Только верхняя губа, совсем еще мальчишеская, широкая, доверчивая, вот-вот задрожит.

— Выжил, значит, я. Правда, с полгода, а может, больше из больницы в больницу мотали, и все на грани. В село писать, что жив, и не думал, боялся: а вдруг не выживу, людей растревожу? Потом совладал, а уж опровержение давать что за охота. Да и впрямь за это время вроде на том свете побывал.

— Нашли ли бандитов, Петр Егорович?

— Да, их судили. Они, видите, хотели следы замести, с поля до села на телеге ехали, а потом телегу до двора с километр на руках тащили. Потели-потели, да не спаслись.

Петр Егорович смолкает, и вновь ползет по стене разноцветный махорочный дымок. А я думаю: какая удивительная история и как волнует встреча с таким вот простым и большим человеком! Рассказывает он, и то жарко нестерпимо делается, то холодно-холодно, хотя лето на дворе и солнце. И думается в такую минуту: древние в трагедиях на века возвеличили сильных духом, воздали своим героям полной мерой, не скупясь на

страсти, на любовь и на ненависть. А мы? Не прибедняемся ли? Не боимся ли мы громко крикнуть, не журчим ли мы подчас вполголоса? Мало ведь, мало сказаний о сильных страстях нашего времени!

Могут возразить: так ведь вы опять начали о героях первых годов Советской власти. Я уже слышу ссылки на острые социальные конфликты тех лет, на исторический фон и прочее. А в этом ли дело?

Тот же Петр Егорович и в недалекие годы совершил немало славного. Я спросил его, за что он награжден орденом Красной Звезды.

— А я машину у фашистов увел.— Сказал всего одну фразу, а за ней ведь стоит война. Сутки почти под сплошным огнем противника полз Петр Дьяков к машине и доставил трофей в батальон.

И когда это было? Перед самым концом войны. В те дни жить солдату особенно хотелось.

— А орден Отечественной войны?

— Большой Хинган перевалил.

И опять так коротко ответил.

Спросите у тех, кто переваливал Большой Хинган, какой это труд и с чем сравнить его. Люди цеплялись за каждый камень, за сухие податливые кустарники и метр за метром штурмовали высоты. Жара, безводье, ветры. А если у тебя тяжело груженная машина, если кипит мотор и, как снаряды, лопаются, стреляют шина за шиной? Сколько их, грузовиков, сорвалось в пропасти, сколько людей не перевалили Большой Хинган! А его нужно было перевалить, чтобы победить. И Петр Егорович, вцепившись в мокрую, теплую, скользкую баранку, тянул и тянул на перевал.

Петру Егоровичу сорок шесть лет. Но, может быть, потому, что всю жизнь свою он провел на ветру и солнце, лицо его, да и весь он сам выглядит старше. Тесно сбежались вокруг серых с хитрецой и улыбкой глаз его морщинки, словно здесь им было всего удобнее расположиться. Но глаза красят Петра Егоровича, стоит только подольше посмотреть в них, а главное, поймать миг, когда расправляется мелкая сеточка, в которой они запутались.

Живет Петр Егорович неподалеку от станции, и километра ходу нет, в маленьком деревянном домике. Тесновато здесь для большой его семьи. А у Дьякова, как и

полагается хорошему человеку, три сына, две дочери. Старший сын, Геннадий,— комсомолец, шофером в МТС работает, во флоте уже отслужил. Галина, дочь двадцати лет, учится в Свердловске в железнодорожном училище, тоже комсомолка. Валерий — он сидел рядом с отцом и так же, как и я, внимательно слушал его рассказ — очень смешной, доверчивый парень. На красноватое, обветренное лицо его то и дело падают рассыпчатые, до седины выгоревшие волосы. Валерий — школьник, летом работает на тракторе в колхозе «Новый путь». Колхоз этот — крепкое, ладное хозяйство — ведет свое начало от прежней коммуны. И даже название оставил за собой то же самое — «Новый путь». И слились в этих двух словах и чаяния тех, кто когда-то, тридцать лет назад, еще не зная точно, что и как надо будет делать, еще не располагая могучей силой техники, знаниями, вышел строить этот новый путь на русской земле, и уверенность нынешних колхозников, которые идут по этому пути.

Подумать только, когда родилась коммуна, еле-еле распахала она 200 гектаров земли, а сейчас в колхозе, где председательствует Иван Романович Макушин, 6 тысяч гектаров пашни! Трудятся в хозяйстве и агрономы, и зоотехники, и трактористы, и комбайнеры, деятельные, настоящие наследники славы прошлой коммуны. Среди них Валерий, сын Петра Егоровича. И когда встречают его в поле колхозные девчата, нет-нет да и споют ему знакомую песню и только одно слово заменят в ней: вместо «Петруши» вставят его имя. И гордится парень, конечно, славой своего отца.

Петр Егорович — машинист дизеля на элеваторе. Скромная профессия. Стучат себе моторы, стучат, а машинист ходит вокруг да около, слушает, подвинчивает, подкручивает, подмазывает. Словом, незаметная должность. Но когда я спросил директора элеватора Василия Васильевича Токарева о Дьякове, он даже руками всплеснул:

— Петр Егорович-то? Так он совершенно на все руки специалист: и комбайнер, и тракторист, и шофер, и дизелист, и слесарь. Видите, сколько я на одном штате держу работников в его лице! Настоящий, наш человек!..— И директор легонько пристукнул кулаком по столу, как будто ставил на сказанное гербовую печать.

Настоящий, наш человек!

Попрощавшись с Петром Егоровичем, я отправился на станцию и уехал в Москву. Встреча с ним не шла из головы. И думалось еще вот о чем. Там, на целине, я познакомился с задиристыми толковыми ребятами: трактористами, комбайнерами, шоферами. С Женей Севостьяновым, Виктором Полухиным, братьями Сергиенко — Александром и Иваном. Не легко и не гладко идет у них сейчас жизнь. Но скажите им: «То, что вы делаете,— подвиг». Мне так захотелось, чтобы ребята с целины обязательно узнали о Петре Егоровиче Дьякове, о человеке, который сел на трактор тридцать лет назад, когда приходил на нашу землю колхозный строй. Я твердо уверен: им понравится его жизнь. Ведь и у них тот же нрав, та же цепкость, то же упорство, что у Петра Егоровича. Ведь они, хотя и молоды еще, из племени «огненных трактористов».

Спустя год совсем неожиданно мне вновь удалось повидать Петра Егоровича Дьякова. Встретились мы с «огненным трактористом» в Москве. Петр Егорович был в новом синем двубортном костюме, в светло-голубой рубашке, которая делала его моложе. Вместе с ним появился подвижной, постоянно улыбающийся человек с густыми еще, но сильно поседевшими волосами, с приметной щеточкой усов.

— Поэт Иван Молчанов,— протянул мне руку спутник Петра Егоровича.

Мы присели и, как водится в такой обстановке, с минуту помолчали. А потом Петр Егорович не спеша и так же раздумчиво, как и при первом свидании, начал рассказывать мне о событиях минувшего года.

— Да, да,— протянул он смущенно.— Вы и сами видите...

Петр Егорович потрогал золотой кружочек, приколотый к алой ленте, что висела у него на груди. В золоте колосьев темнел барельеф Владимира Ильича Ленина.

— Орден Ленина Петр Егорович получил,— заспешил Молчанов, думая, видимо, что я не заметил движения Дьякова.

— Орден Ленина,— так же медленно проговорил Петр Егорович, — это награда-то ведь какая, жизненная! Может, и не достоин я, — развел Петр Его-

рович руками.— Я же непосредственно целину не поднимал, прямо сказать, готовенькое зерно на элеваторе видел...

— Да это ты брось,— решительно и, пожалуй, даже резко ответил ему Молчанов,— брось! Нет, вы посудите сами...— Поэт вскочил, заходил по комнате, как бы готовился вступить в спор с Дьяковым по поводу его награждения.

Но Иван Никанорович тут же понял, что воевать ему не с кем, махнул рукой и сказал:

— Эка ты какой застенчивый, до чего ты теряешься, дружок! Чего застеснялся? Может быть, ты достойнейший из наидостойных?..

Сменив тему, Иван Никанорович бодро, увлеченно, то и дело забывая, что в комнате не только он один, говорил и говорил о том, как рад он свиданию с героем своей давней поэмы, читал строчки будущих стихов о Петре Дьякове.

— А выставка, сельскохозяйственная выставка, как Петру Егоровичу понравилась!

Молчанов явно втягивал в разговор Дьякова.

— Насчет выставки, если хотите,— Петр Егорович заговорил решительно,— если хотите, вот что скажу. Приезжайте в Голышманово на будущий год, и мы это дело у себя двинем.

Что это за дело и что собирался двинуть вперед Петр Егорович, я не спрашивал. Я понимал: трудно ему сейчас вот так, накоротке, рассказать обо всем, что увидел он в Москве, что взволновало, растревожило и заставило думать. Мы вновь замолчали. И я залюбовался его ладной и как-то действительно очень молодой и веселой фигурой. Представилось, как через несколько лет, а может быть, даже и лет через тридцать, листая пожелтевшие листки «Комсомольской правды», увидит новую заметочку о Петре Дьякове или прочтет песню о его человеческих подвигах.

Может быть... Но, может быть, к этому времени будет популярной какая-нибудь другая песня, написанная молодым поэтом о молодом герое. В наше время дни несут в себе столько величайших событий и удаляются от нас настолько быстро, что разве представишь себе все, что ждет тебя даже завтра: ведь делают у нас жизнь такие изумительные люди!

ШАХТЕРСКИЙ ДОКТОР

Помните, Наташа, летом прошлого года к вам в целинный совхоз приехала маленькая группа журналистов? Кустанай еще не прогремел тогда миллионопудовым урожаем. Хлеб добирал последние тонны, и все на целине ждали! Было в том ожидании сложное переплетение чувств: вера, страх, злость, безразличие; и люди, с которыми приходилось перекинуться хотя бы словом, отчетливо передавали своим обликом, какое же из этих чувств главенствует в их душах.

На пути в ваш совхоз мы остановились в маленькой чайной с лихим, прямо-таки ресторанным названием: «Орленок». Человек двадцать шоферов и грузчиков, сидя за длинным деревянным столом, ели хлеб и запивали его холодной водой. Доски стола напоминали бока жирных прокопченных рыбищ и, казалось, еще издавали запахи наваристых щей, гречневой каши, жаренной с салом и луком. Но так только казалось. У досок все было в прошлом. А сейчас на их коричневую основу сыпались сухие хлебные крошки да перекатывались одно к другому подвижные пятнышки воды. Посетители «Орленка» молчали, и только когда мелькнула возле дверей и исчезла какая-то пухлая неразличимая фигурка, один из шоферов, ближе других сидевший к двери, громко бросил ей вслед: «Эх ты, сволочь!» Слова эти прозвучали как странная команда. Все встали и двинулись к машинам.

— Если бы не к спеху,— говорил на ходу все тот же шофер,— я бы ему...

На двери чайной белела маленькая бумажка; размашистым почерком на ней было выведено следующее:

«Ресторану-чайной второй категории срочно требуются на работу: 1) повар, 2) официантка, 3) уборщица».

Подпись директора «Орленка» состояла из непонятных вензелей и кругляшочков.

У двери стоял маленький лысый человек с воспаленными, красными глазами, кроличий цвет которых подчеркивали белесые, казалось, поседевшие ресницы.

— Ишь, негодяи, как ругаются! — завязал беседу директор чайной, ища нашего сочувствия.— Советую, пропишите про этот народец в газете. Если бы не день, и в самом бы деле бока намяли...

Не буду, Наташа, подробно рассказывать вам о раз-

говоре, который произошел у нас с директором неуютного заведения. Мы не спешили, как шоферы и грузчики встретившейся колонны, и сумели объясниться с красноглазым. На складе чайной мы обнаружили горы муки, ящики консервов, бочки сельдей, мешки сахара, бутылки подсолнечного масла и столько всякой всячины, что ее хватило бы на сотни едоков.

— Почему ничего этого нет на столах? — спрашивали мы директора.

Но он ничего не мог ответить. Он принадлежал к породе безразличных человечков.

— Не пишите обо мне, граждане! — суетился он возле нашей машины.— Даю критическое обещание все преодолеть, как в «Арагви», дело налажу.— И он улыбался доверительно-заискивающе, отчего становилось не по себе.

«Не пишите обо мне!» Нередко нам, журналистам, приходится слышать подобную фразу. Но, каюсь, я никак не ожидал, что ее скажет молодой совхозный врач, только год практикующий самостоятельно. А вы ведь именно так и сказали, Наташа, да еще прибавили: «Какая я уж там героиня, не понимаю. Работаю и работаю, без всякого, надо вам сказать, интереса. Да и уеду я отсюда скоро. Не пропадать же мне в голой степи. Мечтаю стать рентгенологом».

Как странно, думалось тогда при встрече, такая сильная, красивая, энергичная девушка — и, нате вам, что-то хлипкое, неясное, невысокое уже прокралось в душу и живет там, разрастается, ищет действия. Причина многих болезней — микроб, незаметный для глаза гаденыш, способный, если не обнаружишь его, свалить великана. Вы, врачи, научились распознавать их тысячами способов и убивать, спасая человека. Но, Наташа, есть ведь микробы, и не поддающиеся воздействию пенициллина. Вот такой микроб прочно уже сидит в душе хозяина «Орленка», и вас он тоже начинает обхаживать, незаметный, настойчивый, въедливый. Понимаете ли вы, в чем дело?

Как условились, я не называю вашей фамилии в этом письме и пишу не для того, чтобы укорить вас, а только потому, что совсем недавно я познакомился с человеком жизни простой, даже будничной, вроде и рассказывать-то не о чем. Но послушайте о ней сами.

...Шел 1898 год. Петербургская военно-медицинская

академия праздновала 100-летие своего существования. Среди тех, кто заполнял однажды ранним вечером петербургский театр оперы, можно было видеть знаменитого Павлова, Бехтерева, Лесгафта, хотя последний, как «красный», и не был допущен к чтению лекций, и много других маститых ученых. Блиставшая туалетами великосветская публика больше ожидала визита военного министра Куропаткина, чем серьезных речей. За кулисами в шумной компании товарищей-студентов шли споры, кого выпускать первым в самодеятельном концерте: Любимова или Снежкина — душку-тенора, покорителя дамских сердец.

— Любимова, Любимова! Пусть он громыхнет «по-медицински»!— требовало большинство.

— «Ни сна, ни отдыха». Николай, зачаруй их, докажи, что медики не живодеры!

Ни сна, ни отдыха измученной душе,
Мне ночь не шлет отрады и забвенья...

— Как давно это было! — кончает напевать Николай Николаевич...— Давно, но помнится... Красивое всегда помнится долго. Не правда ли? — Он пододвигает к себе стакан чаю, медленно мешает его ложечкой и на минуту забывает о моем присутствии.

Николаю Николаевичу Любимову 86 лет. Он родился в 1870 году. Юность его проходила в ту пору, о которой мы вспоминаем теперь лишь по книгам. И вдруг перед вами человек, живший вместе с Чернышевским, Апухтиным, Жуковским. Николай Николаевич молчит, а я вспоминаю место из романа Уилсона «Брат мой, враг мой», где писатель сопоставляет бег времени и сложности исторических процессов. Подумать только, что значит три тысячи лет тому назад, а ведь это лишь сорок жизней до тебя!

— Не находите ли вы,— вновь продолжает разговор Николай Николаевич,— часто у слов в песне особый смысл? Эти вот грустные слова я всегда понимал очень мажорно и пел утверждающе, не плаксиво.

«Ни сна, ни отдыха...»— вновь повторяет он и в самом деле выпрямляется, и как-то сама собой фигура его принимает горделивую осанку.

— Ну, да это дело души человеческой,— обрывает он начатое рассуждение.— Мы ведь о юбилейном вечере за-

говорили. Так вот, кончился мой номер... Не успел появиться за кулисами, а меня уже зовут. Куда бы, думали? К самому военному министру! Э, брат Николай, решаю про себя, не иначе — золотой на стакан вина получишь. Являюсь. Шаркнул, щелкнул каблуками. Жду. Куропаткин поглядел на меня простодушно так, да и сказал: «Брось ты, братец, медицину эту. Петь тебе богом дано. Голос, понимаешь, голос». И, обратившись к кому-то там, говорит: «Устройте ему командировку в Италию, в «Ла Скала», года на два. Какой из него, к черту, доктор!»

Так-то вот и оборвалась бы моя медицинская ниточка, да не оборвалась. И, знаете, не жалею, не жалею— и все тут. Правда, когда мне уже в 1901 году Собинов на фотографии дарственную надпись сделал (мы с ним вместе пели), дрогнуло сердце, дрогнуло. Подрожало и перестало,— совсем не шутливо произносит Николай Николаевич.

...Уверен, вы бы позавидовали, Наташа, тому, как просто и сильно сказал доктор Любимов эту фразу. Доктор Любимов, или, как называют его сейчас, шахтерский доктор. И знаете, почему?

Не оставил медицинской академии Николай Николаевич. А когда пришел час начинать жизнь, поехал служить в Донбасс...

— Это модно тогда было,— объясняет Николай Николаевич свой поступок,— уйти туда, откуда пришел, а я ведь из маленького села Кучки, Пензенской губернии. Отец мой — сельский учитель. Он и не понял бы и разобиделся, если б завертела его сына столичная канитель. Поглядите, кстати, каким франтом я на шахту явился.— И Николай Николаевич протянул мне фотографию, с которой глядел и в самом деле щеголь: нафабренные усики, крахмальная сорочка, черные, быстрые, блестящие глаза.

Как же они пробежали, промелькнули 54 года службы на одном месте, возле одних и тех же шахт, думаешь, когда глядишь на фотографию. 54 года, Наташа, на одном месте! Я говорил с Николаем Николаевичем долго и не один раз, но можно ли обнять в рассказе всю такую жизнь! Вспомните Уилсона: жизнь — это не только годы, это события.

Приехал Николай Николаевич на шахту «Берестовка»,

представился начальству, сказал, что прежде всего намерен спуститься под землю. Управляющий Соколов удивился: «Вы же доктор, не уголь рубать приехали!» Но Любимов отправился в забой. Глядели на него своими выразительными, припудренными блестящей черной пылью глазами шахтерские братья и тоже не понимали, что чудаку доктору здесь надо. Один, посмелее, сказал ему на прощание: «Вы бы, господин доктор, на «Алмаз» посмотрели, там веселее».

— «Алмаз», «Алмаз»! — качает головой Николай Николаевич.— Пошел я в шахту, спустился в забой, полз на животе — ни головы поднять, ни повернуться. Увидел забойщика и в ужас пришел: бьет кайлом, никаких приспособлений нет. Воздуха для меня, неработающего, мало; крошка летит в лицо, глаза, мешает дышать. Пот льет, как будто кто-то выжимает человека, а он, мирясь с адовой мукой, бьет, бьет и бьет черную твердь...

Управляющий встретил доктора холодно.

— Вы говорите, нужны какие-то меры? Какие же меры? Господин Омар и так слишком много сделал, выписав петербургского врача. Вот и примите меры сами.

— В таком случае я отказываюсь здесь работать, господин Соколов.

— Очень хорошо. Мы рады вашей определенности. Завтра можете оставить дела.

Николай Николаевич не рисовал мне картину своего свидания с управляющим, но я представляю ее себе отчетливо, как могу представить и того петербургского щеголя с фотографии, что держу перед собой.

Стоило ли отказываться от Италии, от научной работы в академии, от друзей из Художественного театра, от встреч с Мейерхольдом, школьным товарищем, писавшим в Донбасс «поющему медику» озорные письма? Стоило ли?

Сколько их, часов раздумий, пролетело, прежде чем начинающий врач Любимов ответил себе! Ответил и решил остаться. Знаете, Наташа, почему? Иначе на шахтах совсем не было врача, совсем. В таком случае лучше быть в поле и одному воину. И заспешили годы, и в каждом из них было что-то свое. Взять хотя бы 1910-й...

— Тяжелый для шахтеров год этот, десятый,— вспоминает Николай Николаевич.— Холера. И бунты холерные. Меня так чуть не прихлопнули. Как спасся, и диву

даюсь. Голос помог, недаром пел. Удивляетесь? Сейчас поймете. Смерть от холеры страшна и ужасиа. В диких муках кончается человек и застывает в неестествеиных, напряжеииых позах. Одии за другим умирали в нашем поселке люди, и, чтобы спасти других, старались хоронить покойиых как можио быстрее.

— Так вот,— Николай Николаевич откинулся на спинку стула, скрестил иа груди руки, будто боялся в эти минуты смотреть иа иих,— так вот, прибегает ко мие больиичный сторож, а сказать-то со страху ничего и не может.

— Как же, как же так, Николай Николаевич!— поглядел ои иа меня остаиовившимся взглядом, а потом вдруг закричал дико и повалился в ноги. Подиял я его, встряхнул:

— Что с тобою, что, обезумел ты?

— Живых же я хороиил, живых, все видели... Убьют нас сейчас, убьют!

— Не успел я сторожа расспросить — стук. Да какой там стук — ломятся в дверь. Ворвалась толпа человек в двести с дрекольями, глаза безумиые, ну только что пены нет иа губах у людей.

— Не губи людей, доктор. Отвечай: зачем наших кормильцев в землю живыми зарываешь? Мало тебе, что оии и так всю жизнь под землей живут! Отвечай, доктор, как перед христом богом. Сейчас судить тебя своим судом будем.

Напирает толпа. Плачут жеищииы, и душу рвут их голоса.

— Да что за спрос с иего, бейте кровопийцу! — крикнул уже кто-то, и иоги у меия подкосились. Как овладел собой, ие помию. Тоже закричал, чтобы все слышали:

— Кто видел, выходи вперед!

Зашепталась толпа, метиулась в одиу сторону, в другую. Сникла. Тычут пальцами одии в другого, бабки какую-то Матреиу зовут. Но остыли люди. Так и спаслись мы с другом моим, сторожем.

Ои меия потом, как ушли, спрашивает:

— Николаевич, я и вправду сам видел: шевелились они. Может, ошибся ты вгорячах?

Дело же простое было, почему и сторож сомиеииями проиикся. У трупов, застывших в агоиии, через некоторое

время расслаблялась мускулатура, в самом деле они шевелились...

Представляете себе, Наташа, что значил для врача Любимова только один этот случай только в одном 1910 году. Пусть пролетит в вашем воображении еще иесколько лет, пока ие грянет первая мировая война.

Пластунский полк, где служил врач Любимов, сражался на Турецком фроите. Однажды полк получил приказ перейти через Понтийский хребет. Начали марш в солнечной долине. Цвели миндаль, персики, и воздух, иапоенный томительиой теплотой, казался розовым от этого безудержного цветения. Думалось о чем угодно, только не о предстоящем сражении. Любимов сбросил шинель на подводу и зашагал в легкой тужурке. К вечеру, когда поднялись повыше, опередив обоз, откуда-то сверху низверглись холодные ветры, повалил сухой снег, и вскоре отряд представлял жалкое зрелище. Природа, поманившая только что своими великолепными красками, специально сменила наряд к войне. Люди жались к скалам, будто они могли согреть их. Солдаты срывались в развалины. Крики погибающих поглощала вакхаиалия бури. В темноте Любимов свалился в глубокую яму. Ои поиял, что не выбраться, начал кричать. Его не слышали. С трудом устроил ои приступок и, когда поравнялась с ямой фигура солдата, подпрыгиул, схватил полу солдатской шинели и, не удержавшись, потащил его к себе. Солдат бросился на Любимова, считая его турецким лазутчиком, но успел узнать доктора:

— О господи, это вы здесь, доктор! Палить надо, палить. Авось, услышат иаши, — заторопил ои Любимова.

В два ствола иачали оии расстреливать холодные звезды. Их услышали и вытащили. Но Любимов не мог двигаться. Солдат потащил его. За перевалом в походном госпитале коллеги не скрыли от иего: он отморозил и иоги и руки. Едииственное спасение — ампутация. На раздумье было дано ие много времени. Отряд готовился к бою.

— Может быть, в первый и последний раз,— смеется Николай Николаевич,— ие поверил я докторам, захотел вериуться к себе в Донбасс не калекой. И видите, все на месте,— кладет ои иа стол свои руки.— Правда, долго лечился я у себя в шахтерской больничке, да и сейчас

еще дает себя знать прежнее. Но руки есть. Ах, как это много для человека, когда есть у него руки!

Много дней по военным дорогам добирался Любимов до Донбасса. Он вернулся сюда, потому что не мог иначе. Здесь встретил революцию и не отошел от нее, не замкнулся в собственном мирке, а вместе с шахтерским братством начал строить новый Донбасс. Медленно очерчивались в Донбассе перспективы. С болью и кровью давалось движение вперед. Но Любимов видел: отходили в прошлое ужасающие картины эксплуатации человека,— и сердце врача, сердце русского интеллигента радовалось этому.

Приходилось мало спать, трудно было с едой, топливом, медикаментами. Николай Николаевич выполнял обязанности хирурга, терапевта, акушера. Он радовался: столько стало рождаться детей! Он шутил, встречая своих пациенток: «Да что это вы, женщины, соревнование, что ли, объявили?» Прямо от роженицы — на совещание по здравоохранению, оттуда — на стройку больницы, потом — за переписку. Требовалось увеличить штаты медицинского персонала, посылать людей учиться. Так в бурном, почти пугающем темпе летели месяцы и годы советской жизни врача Любимова.

Вам, конечно, понятно слово «травматизм», Наташа. Шахтеры по-своему расшифровывали этот мудреный термин. Порезал палец шахтер, поднимается наверх. Товарищи его спрашивают:

— Куда, браток?

— Да вот, иду травматизм перебинтовывать. Увечья на копейку, а пока обернусь туда-сюда, десятку потеряю.

Если поврежден палец и шахтер терял лишь заработок, еще полбеды. А если необходима немедленная помощь и если от нее зависят здоровье и жизнь человека, как тогда? И решил доктор Любимов «поселить» медицину под землю. На шахте «Пастуховка» побелили, покрасили комнатку под землей, красный крест на ее двери намалевали и установили там круглосуточное дежурство медиков. Подсчитали «рентабельность» затеи и обнаружили, что случаи травматизма сократились на 45 процентов.

Первый медицинский пункт под землей Николай Николаевич учредил в 1926 году. И тогда же случайно он услышал слова, которые окрасили всю его жизнь.

Возле белой хатенки стояли двое пожилых степенных людей и тихо гуторили о новостях дня:

— Слышал? На «Пастуховке», говорят, «ангел» объявился.

— Не может быть, чего ты брешешь!

— Ребята видели. Весь в белом и с бородой.

Собеседники засмеялись и с минуту постояли молча, обдавая друг друга ароматным настоем крепчайшего самосада.

— Да, спасибо доктору, что он ангела к нам под землю направил. А то ведь у нас больше черти водились.

— Что и говорить, спасибо! Недаром его наши бабы прозвали шахтерским доктором.

Шахтерский доктор! Не правда ли, Наташа, приятно, когда тебя вот так вдруг попросту назовут люди? Вам было бы по душе, если бы жители нового поселка, где вы работаете, назвали вас нашим целинным доктором?

Но я уже вижу, как, читая письмо, вы ждете, что я скажу о трудностях, о преградах, о бюрократах, о том, без чего некоторые наши литераторы не могут представить себе ни одного живого человека. Уж если и встретится им «неподмоченный» герой, они хоть хроническим насморком его наградят, дабы он не выдвинулся в идеалы.

Да, было трудно врачу Любимову. Денег на подземный пункт не давали, больница строилась медленно. Люди приходили врачевать разные: плохие, хорошие, склочники и негодяи даже. Дочь его в беде оказалась. Арестовали ее мужа безвинно, и кое-кто на Любимова поглядывал с холодноватым недоверием. А тут еще вторая война. А он уже старый человек, Николай Николаевич. Спасаясь от немцев с женой, они все-таки попали в окружение. Подводу разбил снаряд, и старики оказались на оккупированной территории. Хотел Николай Николаевич отсидеться в забытой всеми станице, но какой-то русский предатель сообщил, что он врач,— пришлось пойти работать в станичную больничку. Под видом местных жителей Николай Николаевич принимал у себя раненых советских солдат, бродивших по земле в поисках выхода от врага. Чуть не пришлось ему в третий раз распрощаться с жизнью, да благо к этому времени хорошие люди перевезли его в еще более глухое село.

И второй раз, снова после войны, довелось видеть Николаю Николаевичу Любимову искалеченный, поверженный, безжизненный Донбасс, с которым у него было связано все. И снова на той же шахте, в той же поликлинике начал нести свою неприметную и такую необходимую службу шахтерский доктор. Николаю Николаевичу было тогда, Наташа, за 75. И мог бы отдохнуть Герой труда, заслуженный врач республики. Пятьдесят человек врачей работали к тому времени в больнице, где некогда только он один, как воин, боролся за здоровье шахтеров.

Разросся сад возле домика доктора. Он любит цветы. Поздно, как ни у кого в Донбассе, цветут здесь роскошные розы, и аромат их разносится далеко окрест. Но сколько бы тебе ни было лет, нельзя победить черты характера или потребовать, чтобы они ушли на пенсию.

Проложили рельсы трамвая, остановку означили у поликлиники, а вагончики почему-то не бегают. Даром что ли трудились люди? Конечно, не как в сказке двинулся этот злополучный трамвай, но двинулся.

Николай Николаевич весело улыбнулся и сказал:

— Допек. Допек я кое-кого! Ох, и злился трамвайный начальник за жалобы, за обращение к его начальству. Но однажды, знаете, прихватила его какая-то хворь. Пришел ко мне, простите, приехал уже на трамвае. Выслушал я пациента и заметил: «Нервы у вас не в порядке...»

— Если бы вы,— говорит,— доктор, месяц назад меня от Любимова избавили, может, и не пришлось бы такой диагноз ставить.

— Выживет он, конечно,— как-то созерцательно произносит Николай Николаевич,— выживет трамвайный начальник. Но может случиться,— кому-то погрозил Любимов пальцем,— с таким «пороком» и врачи не помогут. Черствость ведь неизлечимая штука.

Николай Николаевич раскрывает портфель и достает оттуда толстую папку с бумагами.

— Приехал в Москву по медицинским делам, а заодно еще один транспортный вопрос решить добиваюсь. Хочу, чтобы машины «Скорой помощи» не на шахтах стояли, где, извините, на них больше здоровые прогуливаются, а в поликлинике. От нее до любой шахты минутная езда, зато транспорт всегда будет начеку, да и меньше его на треть понадобится.

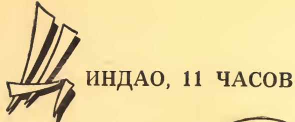
Николай Николаевич встает и игриво показывает, как явился он на прием к большой медицинской начальнице:

— Я ведь, как раньше полагалось, ручку ей поцеловал. А сам думаю: не положено, как бы не обиделась дама. Но нет, ничего. Смотрю, только вспыхнули у нее щеки, а я в этот момент маленький такой поклон ей отвесил — и к делу. Представьте, решила она его положительно, очень быстро и справедливо. Так что еще одно «нервное потрясение» по транспортной части кое-кому привезу.

Николай Николаевич смолкает, щелкает замочком портфеля, и я вновь замечаю, что он весь «не здесь», что видит он себя в больнице, с кем-то спорит, кого-то ругает, кого-то внимательно слушает, поправив плотно прижатые к переносице очки, пишет рецепт. Я прошу у Николая Николаевича разрешение сфотографировать его. Он поднимается, на секунду задумывается.

— Спустя 54 года,— печально произносит он.— Ну, что ж, не боюсь!

Мы идем с ним в фотоотдел, и я слышу, как он шепотком, «для себя», возвращается к строчке: «Ни сна, ни отдыха...». Он идет по коридору, стройный, подтянутый, в черном кителе, глухо застегнутом на все пуговицы, сложив за спиной большие, тяжелые руки, руки шахтерского доктора, вашего коллеги, Наташа.



ИНДАО, 11 ЧАСОВ



Уго умел и любил рассказывать. Безработный паренек из Рима, он приехал в Пекин, так же как и мы, на съезд Новодемократического союза молодежи Китая. Талант рассказчика, веселого и остроумного парня, утвердился за ним довольно быстро. Никто никогда не спрашивал Уго, откуда знает он столько веселых и грустных историй, где собрал он столько чудесных песен. Его любили слушать, а это для Уго было самым главным.

Сам Уго в шутку говорил: если правы врачи, утверждающие, что смех — тот же витамин «С», то его, Уго, можно считать фабрикантом этого целебного снадобья.

Но Уго, конечно, ни капли не походил на фабриканта. Он щедро делился своими богатствами со всеми. Особенно интересно рассказывал Уго об итальянских фильмах. Он не просто передавал их содержание, а сам, не замечая того, проигрывал кинокартину кадр за кадром, как настоящий артист. Уго говорили об этом, и он, смеясь, утверждал, что не идет сниматься в кино только из-за робости.

Но был вечер, когда молчал и слушал Уго. И для того, чтобы понять, почему так случилось, надо вернуться опять-таки к нему. Однажды он рассказывал о фильме

«Рим в 11 часов». Слушали его человек десять, в том числе и несколько китайских юношей и девушек, пришедших в гости к советской делегации. Тема фильма, о котором говорил Уго, была невеселой. Фильм рассказывал о судьбах многих итальянских девушек и юношей, чья жизнь день за днем, месяц за месяцем отдана бесплодным поискам работы.

Одна из героинь фильма по газетному объявлению узнает, что в контору требуется машинистка. Она спешит в эту контору чуть свет, чтобы оказаться первой. Она действительно приезжает первой, но к открытию конторы желающих получить работу набирается несколько десятков.

Когда отчаявшаяся толпа безработных врывается на лестницу дома, лестница под их тяжестью рушится. Страшная катастрофа случилась в Риме в 11 часов, среди бела дня. Отсюда и название фильма.

Санитарные машины развозят по больницам тяжелораненых. Но есть все-таки надо, и в последних кадрах фильма мы вновь у дома, где случилось несчастье, встречаемся с девушкой, пришедшей первой. Она осталась жива, она не ранена, она ждет. Вдруг счастье улыбнется ей: ведь из-за катастрофы хозяин не успел нанять машинистку...

Уго кончил. И, может быть, разговор перешел бы на другую тему, если бы не китайская девушка, сотрудница молодежной газеты, сидевшая у окна и, казалось, не слушавшая Уго.

— Я тоже хочу рассказать вам историю о девушке,— проговорила она.— История эта немного похожа на ту, что мы только что слушали. Случилась она в Циндао.

Девушка на какое-то мгновение замолчала, оглядывая всех и решая, интересно ли будет то, о чем она собиралась поведать, и начала:

— Отец Хо Цзянь-сю был погонщиком мулов. Он всегда приходил домой усталый, пыльный, но никогда не бывал грустным. Жизнерадостный человек, он считал, что горю народа скоро придет конец. Армии Мао Цзэ-дуна и Чжу Дэ теснили гоминдановцев с китайской земли. Но однажды отец не вернулся домой в положенный час. Поздно ночью его принесли товарищи со следами крови на лице и руках. Его ограбили и избили гоминдановские солдаты.

Всю ночь проплакала семья у постели больного, а он

лежал с открытыми сухими глазами, глядел в потолок и ничего не говорил. Через несколько дней Хо Лин-мин (так звали отца девушки) встал с постели, собрал всех старших в семье и сказал, что уходит в освобожденные районы, чтобы вступить в армию. И он стал собираться в путь в тот же вечер, и никто не отговаривал его, и жена пообещала ему, что сохранит детей и дождется его. Так ушел из Циндао Хо Лин-мин.

Хо Цзянь-сю была старшей девочкой в доме; ей минул тринадцатый год, когда все это случилось. Она успела окончить к тому времени три класса и даже не научилась еще читать. Но дальше учиться было не на что, и Хо решила искать работу.

«Ведь можно же найти работу в Циндао, большом и красивом городе, городе с десятками хлопчатобумажных, текстильных фабрик, различными заводами, портом, в котором дымят трубы океанских пароходов!—думала Хо.— Ведь можно же найти место, пусть даже за самую маленькую плату, в таком большом городе!» И вот Хо, уверенная, что скоро она сможет принести своей матери первые юани, пустилась на поиски работы.

Слишком долго было бы перечислять даже названия улиц Циндао, которые по многу раз вдоль и поперек исходила Хо в надежде, что где-то приветливо встретят ее и она вернется домой ученицей портного или ткача. Скоро даже мать девочки, встречая ее, перестала спрашивать, где она побывала за день. Она только осушала концом старого платочка ручеек слез, бежавших из старых и — что с ними поделаешь! — непослушных глаз, и говорила: «Отдохни, Хо, теперь пойду я, может быть, повезет мне». Но Хо никогда не отпускала мать одну, и они снова шли вместе. На пристанционных путях они собирали кусочки угля, щепки, чтобы разжечь дома хотя бы маленький огонь; на базарах подбирали капустные листья, а иногда им даже удавалось найти целую картофелину. Всю весну и лето не могла устроиться Хо на работу. Пришла на редкость холодная зима, с ветрами и гололедицей, а девочка продолжала свои долгие путешествия по Циндао в легких войлочных тапочках и хлопчатобумажном платьишке.

Как-то Хо очутилась очень далеко от дома. Ноги у нее ныли от усталости; девочка так замерзла, что, казалось, ни капли тепла не оставалось в ее теле. Она брела по ули-

це, никого и ничего не видя, и почти машинально остановилась возле большой доски объявлений. Скользнула по ней усталым взглядом и увидела, что, так же как и на сотнях других щитов, здесь висели только рекламные афишки. На одной из афишек была изображена улыбающаяся девушка, намазывающая на кусок хлеба желтое масло. Хо никогда не ела такого масла. Она вспомнила, глядя на доску, что сегодня она вообще ничего не ела, и у нее закружилась голова. Хо уже собиралась двинуться дальше, как вдруг к щиту подошел разносчик объявлений. Он сунул руку в длинную, сделанную из мешковины сумку, вытащил оттуда лист бумаги, смазал его клеем и, подумав секунду, пришлепнул на афишу с улыбающейся девушкой. Сердце Хо сжалось. «Что написано на этом листке? Это работа!» — моментально подумала и сама себе ответила она. Но пока Хо догадалась обратиться к разносчику с просьбой прочитать, что написано в объявлении, он уже скрылся. Девочка подбежала к женщине, проходившей мимо, но та не умела читать. Не умел читать и старик-рикша, который с любопытством посмотрел на Хо. Не умели читать и многие другие люди, к которым она обращалась. Но уйти, не узнав, что говорилось в листке, девочка не могла. Тогда осторожно, чтобы не порвать листка, она содрала его со щита и сунула в карман.

Косички у Хо превратились в две ледяные сосульки, когда она добежала до дома. Она ничего не сказала матери и отправилась к учителю Чжан Су-пно, чтобы попросить его прочитать объявление. Учитель еще не спал. Он прочел протянутый Хо листок и ответил, что действительно на текстильную фабрику требуются работницы. Хо поблагодарила учителя и бросилась домой.

Всю ночь ни мать, ни она не спали. Девочка решила, что должна первой подойти к фабричным воротам. Едва забрезжил тусклый зимний рассвет, она собралась и вышла из дому. Через полчаса Хо подошла к фабрике. Она не знала, который был час, но, видимо, ранний, потому что еще работала ночная смена.

Не успела Хо опомниться, как у ворот появились сразу пять старых женщин. Одна из них дернула ее за рукав и спросила: «Ты что, первый раз?» Хо ответила: «Да». Женщина зло оглядела ее и сказала: «Тогда держись ближе к нам».

Потом люди стали подходить все чаще, и когда солнце коснулось краешком лучей стекол фабричных окон, возле ворот уже толпилось несколько сот человек. Все они чего-то требовали у сторожей, громко кричали, над головами собравшихся то и дело взлетали жилистые грозящие кулаки. Хо прижалась к старухе, с которой познакомилась еще утром. Та оказалась совсем незлой и все успокаивала ее, но Хо чувствовала, что ей не повезет. Прижатая со всех сторон к чугунной ограде, она еле дышала. Когда наконец сторожа распахнули ворота и толпа ринулась к конторе, Хо смяли, бросили в одну сторону, другую, и она уже ничего не видела перед собой, кроме спин бегущих людей. А через час все было кончено. Только три счастливчика из семисот зарегистрировавшихся попали на фабрику.

С того утра много раз в течение многих долгих месяцев — весной, когда солнце было ласковым и нежарким, летом, когда оно до боли напекало голову, зимой, когда холодный ветер рвал с плеч Хо ее легонькое платьице,— приходила девочка к фабрике. И никогда ей не удавалось пробиться даже к дверям конторы. Хозяева фабрики, гоминдановцы, не только не принимали никого на работу, но все больше увольняли ткачей и ткачих. А дома у Хо дела шли все хуже: мать, сестры и братья совсем голодали. И неизвестно, удалось ли бы Хо Лин-мину застать своих живыми, если бы июньским днем 1949 года вместе с войсками Народно-освободительной армии он не вошел в свой родной город Циндао...

Вот и вся история о Хо Цзянь-сю, которая пришла мне на память после вашего рассказа о фильме «Рим в 11 часов»,— проговорила девушка.

Она взглянула на Уго. Он сидел на низеньком стуле возле круглого стола с фруктами и машинально разрывал на тонкие полоски золотистую кожуру банана.

— Прошу прощения,— произнес он наконец, явно волнуясь.— Вы сказали, что история Хо похожа на ту, что рассказал я.— Уго грустно улыбнулся.— Ведь девушка из Рима еще и сейчас не имеет работы, и не только она.— Уго помедлил.— Я тоже уже два года брожу по Риму, как когда-то Хо бродила по Циндао. И думаю так же, как она когда-то: неужели в таком большом и красивом городе, в моем родном городе Риме, не найдется для меня места, любого места, с любой, пусть даже самой

маленькой, платой, чтобы и я мог обрадовать свою мать и принести ей немного денег? Но места нет. И это не только в фильмах. Так у нас в жизни.

Уго с трудом произнес последние слова и замолчал. Но неожиданно он вновь развеселил всех. Уго вскочил со стула и, выбрасывая вперед руки, изгибаясь, кому-то грозя длинным указательным пальцем, подмигивая, заговорил быстро-быстро.

— Это я вам продемонстрировал образчик ораторских приемов наших правителей,— объяснил Уго свой неожиданный поступок.— Речей фонтан, но пустой карман.— И Уго ловко вывернул оба кармана своего пиджака.

Было уже поздно. Все поднялись, мы решили проводить гостей.

Но на этом не кончилось наше знакомство с историей жизни Хо Цзянь-сю. На следующий день во время утреннего заседания съезда на трибуну поднялась крепко сложенная, румянощекая девушка. Это была делегатка текстильщиц Циндао Хо Цзянь-сю. Просто и убедительно говорила она о своей работе, о новых приемах труда, которые помогают повышать производительность и экономить средства. Она называла имена своих подруг — передовиков производства, вместе с которыми несколько лет назад начала свой трудовой путь. Рассказывала она и о старой женщине Кан Сю-цин — передовой работнице, той самой старой женщине, которая когда-то увела ее, плачущую, от фабричных ворот.

В зале съезда, склонив к столам головы, делегаты всей большой китайской земли записывали речь Хо, чтобы, вернувшись домой, рассказать о ее работе и ее успехах.

Уго сидел неподалеку от трибуны, и все, о чем он думал в эти минуты, можно было прочесть в его глазах. Они были грустными и веселыми, любознательными и строгими. Это были глаза мужественного итальянского парня. Когда Хо кончила говорить, Уго нагнулся к нашему столу.

— Если когда-нибудь мне суждено будет что-нибудь написать,— сказал он,— я напишу киносценарий.— Он секунду подумал и закончил свою мысль: — Я назову этот сценарий «Циндао, 11 часов». И в нем я не откажусь сыграть любую роль.

ТАМ, ГДЕ ДЕЛАЮТ ДЕНЬГИ



Итак, мы в Америке. Отныне с нами следуют г-да Френк Клукхон, Эдмунд Глен и Эндрю Чихачев. Государственный департамент уполномочил их опекать советских журналистов. Ну, что ж, пусть опекают: мы гости, а, как известно, в чужой монастырь не ходят со своим уставом.

Нью-Йорк встретил нас первым интервью:

— Жив ли «дух Женевы»?

Десятка полтора журналистов ждали ответа. Когда Борис Полевой от имени делегации сказал, что «дух Женевы согревает сердца всех простых людей мира», журналисты улыбнулись. Вечером в газетах мы прочитали известие о нашем прибытии. Между строк заметок сквозила мысль: «Они утверждают, что Женева еще не забыта, хотя ясно, что в нее уже мало кто верит».

Нас несколько удивил этот тон сообщений, но, к счастью, газеты были на значительном расстоянии от истины.

Часа три в здании порта мы ждали багаж. Чемоданы беспрерывной лентой плыли по нескольким транспортерам с борта судна. Когда чья-нибудь поклажа задер-

живала работу грузчиков, они подбрасывали ее на транспортер, и та катилась, кувыркалась, гремела с 20-метровой высоты вниз, а у пассажиров в это время замирали сердца.

О Нью-Йорке каждый слышал и читал миогое. Классические образцы описания города дали Горький и Маяковский. Как только я очутился иа его улицах, при всем том, что сказаиное кем-то всегда отличается от твоих личных ощущений, поразили колоссальная точиость и образиость прозы Горького и стихов Маяковского о Нью-Йорке.

Когда приезжаешь в чужой город, особеино в далекий, где живет народ, ие похожий на твой, с непонятным языком, своей культурой, привычками, манерой, — прежде всего хочешь познакомиться с человеком, с гражданином города. Нью-Йорк не разрешает тебе этого. В нем главиое он сам, его дома «невозможной длины», поток машин и крики со всех крыш, фасадов и углов: «Купи, купи, купи!» — так требуют рекламы. Собственио, в Нью-Йорке живет более 8 миллиоиов человек, в ближайших окрестиостях — еще 5 миллионов. Мне рассказывали, что, если ньюйоркцы встаиут в две шеренги, они перечеркнут Соединеиные Штаты от края и до края. Думается, если вытянуть в одну линию лампочки и светящиеся трубки реклам города, они покроют все меридианы и параллели земного шара.

Мешает ли этот бешеный поток электрических слов человеку? Тут дело привычки и вкусов. Кое-где рекламы сделаны изобретательно, оии оригинальны. Например, Бродвей — главная улица города — днем иевыразительиая, с некрасивыми домами, вечером — вся в огнях — производит иарядиое впечатление. По одной крыше льется поток подсвеченной воды, на другом здаиии огромный фанерный человек совершает шаги на месте и улыбается при этом, предлагая купить какие-то сверхпрочные ботинки. И так всюду, где бы вы ни шли по Бродвею.

А небоскребы? Когда смотришь на иих, задрав голову, тебе представляется, что дома эти ие строили, как строят все другие, что вначале были скалы, потом люди прорубили в этих скалах узенькие проходы, площади, и так «образовались» улицы города. Дома в Нью-Йорке темно-серые или темио-красные — без облицовки. Внешие оии довольно однообразны, как, впрочем, и во многих дру-

гих городах страны, но надо отдать должное удобствам внутренней планировки и отделке квартир, учреждений. Хороши в городе и некоторые дороги с односторонним движением, они дают возможность очень быстро передвигаться из одного конца Нью-Йорка в другой.

Но я заговорил о людях в городе. Удивительное дело: так трудно даже сейчас отчетливо представить себе тип ньюйоркца. Может быть, это потому, что здесь живет масса эмигрантов? Мэр города господин Вагнер заметил при встрече с нами, что в Нью-Йорке «больше ирландцев, чем в Дублине, евреев, чем в Израиле, итальянцев, чем в Риме». Нет, все-таки не поэтому. Горячка города, темп его жизни, властное подчинение человека одной, только одной заботе — успеть, не прозевать, не споткнуться в «делании денег» — не это ли объясняет вам почти неуловимый облик тех, кого вы видите на улицах? Они всегда спешат, и к ним просто невозможно приглядеться.

Но мы встречались и говорили со многими американцами в иной обстановке. Как самые дорогие, остались в нашем сердце встречи с Полем Робсоном, Альбертом Каном и многими другими мужественными и, я бы даже сказал, героическими гражданами Америки. А разве забудется встреча с Войнич — автором «Овода»,— которая живет где-то на семнадцатом этаже большого мрачноватого дома?

Вечером в день приезда мы отправились в газету «Нью-Йорк таймс».

«Таймс» расположена в центре города. Она является ведущей газетой и во многом определяет вопросы внешней и внутренней политики государства. О, конечно, если вы спросите об этом у хозяев, они разведут руками: «Мы вполне нейтральный, независимый, свободный и прочее и прочее орган». Но всем известно, что контрольный пакет акций газеты принадлежит семейству Сульцбергер-Окс; г-н А. Сульцбергер — издатель газеты, кроме того, важный соучастник в делах агентства Ассошиэйтед Пресс. Принимал нас на одиннадцатом этаже обширного здания газеты, в парадных апартаментах, г-н Дрейфус. Он один из доверенных людей Сульцбергера и, кстати, его ближайший родственник.

Г-н Дрейфус рассказывает нам об истории газеты. «Таймс» выходит более ста лет. У нее огромная сеть заграничных корреспондентов — свыше 100 человек. Рабо-

тают в газете 800 сотрудников. Тираж газеты в обычные дни — 575 тысяч, в воскресенье — миллион 200 тысяч экземпляров. Г-н Дрейфус показывает снимок здания «Таймс» 1878 года. В нынешней редакции оно, наверное, поместилось бы в одной из комнат.

Беседуют с нами редакторы газеты, ее видные журналисты. Хозяева приветливы. Разговор сначала носит чисто профессиональный характер: мы стремимся определить, кто же организует весь полученный материал, дает ему направление. Ведь «Таймс» выражает какое-то мнение!

Помедлив, г-н Дрейфус отвечает:

— Мы печатаем все новости, как бы каждая из них ни исключала одна другую.

— А передовая? — спрашивает Виктор Васильевич Полторацкий.— Какие-то основные, политические статьи?

Г-н Дрейфус, мягко и очень доверительно улыбаясь, говорит, что, конечно, есть «некоторое число лиц», занимающихся этим.

Кто «эти лица», каковы их взгляды, кто им дает советы, мы не узнавали. Чувствовалось, что вопрос слишком деликатен.

Там же в «Таймсе» за столом разговор касался и международных проблем, правда, в очень общем, созерцательном плане.

Лица некоторых господ, принимавших нас, как бы говорили: да, дескать, мы хотели бы, чтобы все было постарому. Да, это многие из нас писали о пушках и бомбах, раздувая «холодную войну». Но падают тиражи, и читатель, как ни стараются его обработать, уже больше не хочет «холодной войны». Что же, дескать, делать? Приходится считаться.

Наша беседа закончилась поздно. Спустились в типографию. В ней довольно старое оборудование, послужившие на своем веку машины. Но дело поставлено очень организованно, нет задержек в выпуске газеты, хотя каждый номер в сотню и больше страниц.

Конечно, подавляющее место в газете занимают рекламы и фотоснимки, сенсационные истории об убийствах, разводах, похищениях — так называемая полицейская хроника. К примеру, в дни Совещания министров иностранных дел в Женеве газеты уделяли ему иной раз 50—100 строк, тогда как описание авиационной катастро-

фы, виновником которой был человек, подложивший бомбу в чемодан матери, с тем чтобы получить страховку в 65 тысяч долларов, занимало целую страницу.

Мы возвращались в отель пешком. Теплый, совсем летний вечер. Моросил мелкий, как тончайшая пыль, дождик, будто у вершин небоскребов кто-то натянул плотную сетку. Чуть тише на улицах: люди дома. Катят сверкающие, умытые дождем машины.

В гостинице мы нашли письма и телеграммы с приветствиями и пожеланиями успеха делегации. Писали студенты, врачи, фермеры, рабочие. Невольно вспомнился первый вопрос, которым встретили нас американские журналисты: «Жив ли «дух Женевы»?» Вместе с нами отвечали теперь многие простые люди Америки. В их теплых и добрых словах отчетливо слышалось: «Дух Женевы» не умер и не умрет. Он в сердцах простых людей Соединенных Штатов Америки, он согревает человека великой надеждой».

Позвонил г-н Глен и предупредил, что завтра ранний подъем. Начинать новый день нам предстояло с визита на Уолл-стрит...

Прежде чем отправиться на биржу Уолл-стрита, я расскажу две небольшие истории. Одна из них настоящая, другую придумали сценаристы и режиссеры — заставили артистов сыграть ее и сняли на цветную пленку...

В зале кинотеатра гаснет свет, и мы видим:

Маленький городок, растущий, как гриб. В городке нашли нефть. Идет вторая мировая война. Городок проезжает хорошенькая девушка Люси. Что-то случилось на путях — она вынуждена временно остаться здесь. Люси помогает устроиться на ночлег молодой фермер, который с первого взгляда влюбляется в нее. Наутро она выходит прогуляться и видит, что ее модные туалеты (они, конечно, не очень дорогие, но столичные) вызывают всеобщее восхищение горожанок. Не раздумывая, Люси продает часть запасов своего туалета, и к вечеру у нее в руках 5 000 долларов.

Все идет, как говорят американцы, «о'кей». Немножко любовных недомолвок, один грандиозный пожар (без «сильных ощущений» картина может не пользоваться успехом), наконец, за полтора киночаса по воле авторов картины Люси и ее ухажер становятся миллионерами, а потом мужем и женой.

История превращения г-жи Энн в богатую, властную женщину не так коротка и легка. Лет пятнадцать назад — это рассказывал мне начинающий коммерсант по продаже перца и, видимо, близкий г-же Энн человек — она открыла посредническую контору по найму на работу секретарей, телефонисток и стенографисток. С каждой по 5—10 долларов — был ее закон. Вскоре хозяева, у которых случались вакантные места для этих профессий, перестали принимать к себе кого бы то ни было без конторы Энн. Почему? Потому что девушки и молодые женщины «обрабатывались» там самым жестоким способом. Хозяевам ничего не надо было узнавать о будущем работнике, спорить из-за оплаты или других условий.

Они снимали трубку и коротко бросали сначала г-же Энн, а потом уже ее служащим:

— Блондинку, 20 лет, 50 долларов в неделю, незамужнюю...— И сделка совершалась.

И так год за годом, невзирая на то, что перед ней проходили люди с горем, с желанием получить немного больше на жизнь, г-жа Энн перекрашивала брюнеток в блондинок и наоборот, в зависимости от спроса, и все повышала и повышала оплату за свои «услуги». Теперь она богатый человек. За каждым долларом ее состояния судьбы, слезы и разочарования, о которых г-жа Энн, конечно, не думает и о которых она не расскажет вам. Но не все так просто и весело, как в кинофильме о Люси Галан. Дом г-жи Энн, когда мы вошли туда, показался нежилым. В нем двадцать или пятнадцать комнат, дорогие безделушки, камни в бронзе и мраморе.

Но я пишу об этом не потому, что мне хочется обидеть продавца перца господина Джона Ричи и госпожу Энн из Сан-Франциско. Мы по-разному смотрим на жизнь, и нам не стоит сейчас спорить, доказывая друг другу преимущества своих воззрений. Я вспомнил об этом потому, что во время нашего визита на Уолл-стрит нам хотели объяснить всю сложную и путаную механику биржевой игры именно так, как это сделали постановщики фильма о Люси Галан...

Если улицы и площади Нью-Йорка кажутся прорубленными в скалах, Уолл-стрит — самое узкое «ущелье» в городе. Огромные дома стоят друг против друга метрах в восьми — двенадцати. Темно-серые фасады их призваны подчеркивать торжественность и могущество фи-

нансового центра. Было солнечное утро, когда мы приехали на Уолл-стрит, но все же снимки пришлось делать с довольно большой выдержкой: солнцу не пробиться на эту улицу.

Нас принимают мистер Фунстон — президент Нью-Йоркской биржи — и мистер Смит — также крупнейший финансовый делец города. Нам рассказывают о миллионах, которыми ворочают биржа Фунстона и маклерский дом Смита. Хозяева упирают на то, что большое количество акций держат мелкие предприниматели. Когда мы спросили, каким капиталом обладают эти мелкие держатели акций, нам ответили, что дело это секретное. Догадываемся, что вовсе не они контролируют деятельность компаний. В дни нашего пребывания в Нью-Йорке произошло серьезное падение акций ряда компаний. Мистер Фунстон сказал, что положение улучшилось, но не совсем. Он шутит:

— Наш дом существует вот уже 163 года, и его столько раз трясло...

Но он тут же добавляет, что в этом-то и суть «свободного предпринимательства». На вопрос, в интересах ли Америки широкая торговля на равных условиях со всеми странами, мистер Фунстон отвечает утвердительно. Но, видимо, боясь чего-то, начинает долгое повествование на общие темы развития капитала и торговли в Америке.

Нас проводят, наконец, в центральный зал биржи. Прелюбопытное зрелище! В огромном, высоченном зале, стены которого из серого мрамора, шумят, куда-то бегут, кричат, свистят человек пятьсот народа. Это маклеры, люди, чьими руками и производится биржевая игра. За полукруглыми и квадратными загородками сидят служащие биржи, кассиры. По стенам непрерывно вспыхивают названия компаний—стальных, нефтяных, банановых и всяких иных — и стоимость одной акции в настоящий момент. Г-жа Эни сидит дома, она отдает распоряжения по телефону в маклерский дом Смита, а его работники уже толкутся на бирже Фунстона. Тысячи счетных аппаратов, телетайпов, радиостанции включены в дело. При нас пошли вверх какие-то акции, раздались дружный свист и хохот. На черной доске появились номера маклеров; по приказу хозяев они должны были именно сейчас либо покупать, либо продавать акции.

Все виденное трудно сравнить с чем-нибудь привычным. Мы стояли на высоком балкончике зала, и мне почему-то все это напомнило палубу парохода, который наткнулся на мель, и пассажиры раскачивают его, чтобы столкнуть на глубокую воду.

Огромная армия людей участвует в финансовых сделках. Только маклерский дом г-на Смита имеет 116 контор. Через его кабинеты проходит три миллиона акций в день. Работают в доме 5 400 человек; они, так сказать, технические исполнители воли хозяев. Кроме того, масса счетных машин — иные из них заменяют до сотни человек — стрекочет, пишет, считает тут же.

— Видите, как делают деньги? — сказал мне лысый, с бегающими глазками маклер.

Я ответил, что вижу, но не понимаю.

— Да, это секрет производства,— продолжал маклер.— Игра, страсть, риск...

Он с гордостью сообщает мне, что место маклера стоит теперь 88 тысяч долларов.

— И вы заплатили их сами?

— Нет, деньги внес г-н Смит.

— Вы точно обязаны выполнять его приказы?

— Да!

— Ну, а если сделка грозит катастрофой как раз мелким держателям акций? Что тогда?..

— Я объясню вам, если хотите, кое-что откровенно,— доверительно сообщает маклер,— но... не для печати.

Понимаю, что он не откроет мне истинного смысла того, «как делают деньги» на бирже. Но все-таки мысленно ставлю на стол черную кошку — знак молчания.

ШУМИТ НОЧНОЙ БРОДВЕЙ

Прошло три дня нашей нью-йоркской жизни, и мы почувствовали себя увереннее: не блуждали по длинным коридорам отеля «Валдорф Астория», отыскивая свои номера, научились быстро отличать четвертьдолларовую монету от полдолларовой, а пять центов от десяти. «Мелочи» заграничной жизни, а их значительно больше, чем я только что назвал, стали действительно мелочами, и даже те, кто не знал по-английски ни слова, сами отправ-

лялись на завтрак, покупку сигарет, открыток, марок. В обиходе мы заменили кое-какие названия русскими. К примеру, сигареты «Филипп Моррис» были переименованы в «Беломорис». Кроме того, «безъязыкие» быстро овладели некоторыми элементарными американскими выражениями.

— Вы не бывали на Бродвее? — услышали мы уже на следующий день после приезда.— О, вы еще не бывали на Бродвее!— И в голосе нью-йоркского журналиста послышалось удивление.— Нью-Йорк — это Бродвей, а Бродвей—это Нью-Йорк.— И мы поняли: надо непременно побывать на знаменитой улице.

Район Нью-Йорка Манхеттен расположен на узеньком, вытянутом островке того же названия. Островок омывают воды Восточной реки и Гудзона. Бродвей—главная улица Нью-Йорка, и она перечеркивает Манхеттен с севера на юг слегка по диагонали. Это одна из немногих поименованных улиц города. Большинство других значатся лишь под номерами. В переводе с английского Бродвей — широкий путь. Но улица не во всех своих частях широка. Здания Бродвея неравноценны по своим архитектурным достоинствам. Встречаются здесь и помпезные подражания стилям прошлого и «сверхсовременные» постройки, где сплетены в причудливый клубок бетон, стекло и металл.

На Бродвее расположено много различных контор, газет, выходит на Бродвей и Колумбийский университет, о котором я сейчас расскажу. Но знаменита улица другим. Кино, театры, ночные клубы, рестораны, отели, магазины, где товары несут на себе «наценку модной улицы»,— вот что определяет ее лицо. Днем по Бродвею движется деловой народ, и тогда толпа обычна: серые, бежевые костюмы, пыльники и макинтоши у мужчин, светлые, некричащие тона нарядов у женщин. Утром и днем Бродвей ничем не отличается от сотен других улиц Нью-Йорка.

Мы отправились в Колумбийский университет по Бродвею в утренние часы. Принимали делегацию несколько десятков преподавателей и профессоров. Колумбийский университет — громадное учебное заведение. В нем занимается около двадцати восьми тысяч студентов. Естественно, что мы не могли за короткое время серьезно ознакомиться с постановкой научной работы и со сту-

денческой жизнью. Как в этом, так и в других университетах нам предоставляли возможность говорить лишь с преподавателями, профессорами, и мы почти не видели учащихся. Мы узнали, что Колумбийский университет считается одним из самых дорогих американских вузов. Только учение обходится в 1 000—1 200 и даже больше долларов в год. Здесь за все приходится платить: за лекции, за то, что преподаватель просмотрел твои чертежи, за то, что ты сдал экзамен. Стипендии получают далеко не все студенты и даже далеко не половина студентов. Причем стипендии чаще всего назначаются различными общественными, частными организациями, и они невелики.

Русский институт, гостями которого мы были, подготавливает специалистов по «русскому вопросу», главным образом для государственных учреждений. Трудно судить о том, насколько серьезные и глубокие знания получают студенты по русской истории, литературе, праву, насколько глубоко и объективно здесь изучают жизнь Советского Союза. Мы чувствовали известный интерес к нашей стране, но вот, например, короткая беседа, которая произошла у меня с одним из специалистов по советскому праву.

— Скажите, когда начинают записывать детей в пионеры?

Я ответил, что каждый школьник сам вступает в пионеры, если он того хочет.

— Ах, да, простите, с пионерами я, кажется, ошибся! Это у вас при получении паспорта записывают в комсомол...

Я понимал, что не просто убедить собеседника, но все-таки рассказал ему о том, как работают, по какому принципу строятся пионерская и комсомольская организации. Он выслушал меня и ответил, «что примет во внимание наш разговор».

И здесь я не могу не вспомнить наш последующий визит в Калифорнийский университет, где нас радушно принимали профессора и преподаватели. Но всех нас крайне удивило, что в Калифорнийском университете считается одним из главных «специалистов» по русской советской литературе некий Струве — сын небезызвестного предателя Петра Струве. Этот сухонький человек пытался испортить нашу встречу с профессорами. Он не молчал ни минуты, все время источал потоки желчи. На страницах аме-

риканских газет и журналов «спец» выступает с лживыми и одиозными статьями, которые насквозь проникнуты ненавистью ко всему русскому.

После беседы с преподавателями русского института мы попросили познакомить нас с деятельностью факультета журналистики Колумбийского университета. Пройдя зеленым бульваром, или, вернее, парком, в котором и расположены невысокие, 3—4-этажные корпуса университета, мы поднялись на факультет журналистики. Господин Акерман рассказывает нам о факультете.

Как выяснилось, учение здесь вместе с пансионом обходится в две тысячи долларов в год. Да, немногие семьи могут позволить себе учить детей журналистике.

Но подготовка будущих журналистов поставлена серьезно. В отличие от наших университетов срок обучения на факультете — один год. Студент обязан прежде всего получить высшее гуманитарное образование и уже затем подает заявление с просьбой принять его на факультет журналистики. Таким образом, как выразился господин Акерман, Колумбийский университет предпочитает не академическую, а профессиональную подготовку журналистов с резко выраженной специализацией. Здесь готовятся международники, спортивные обозреватели, специалисты по промышленности, по полицейским новостям, радиообозреватели, работники телевидения.

Интересен метод приема студентов. Кроме обычных экзаменов, студент пишет литературное сочинение на избранную тему. Это сочинение направляется опытным журналистам для оценки. Кроме того, поступающий обязан представлять рекомендации двух — трех видных журналистов.

В дни учения будущие журналисты работают с опытными корреспондентами. В собственной небольшой типографии они подробно изучают типографское дело, сотрудничая в небольших газетах Нью-Йорка во время практики, приобретают навыки выпуска газет. Они серьезно занимаются стенографией, машинописью, фотографией.

Думается, что такая система подготовки журналистов оправдывает себя.

Под вечер мы вернулись в гостиницу. Передохнув, решили посмотреть ночной Бродвей. В часы, когда по всей улице вспыхивают огни, зажигаются фары автомобилей, подвозящих пассажиров к подъездам увеселительных за-

ведений, и раскрывается подлинное лицо Бродвея. Потоки света — красного, зеленого, золотого, синего, роскошные туалеты дам, приезжающих «коротать» ночь за столиком ресторана, выкрики разносчиков вечерних газет, завлекающих покупателей сенсационными новостями: «Последние дни личной жизни Гитлера. Достоверный рассказ его слуги», «Трумэн публикует свои мемуары» и т. п. Все смешивается воедино, создавая мятущуюся, пеструю картину, и вы не можете уловить никакой подробности, будто только что сошли с лихой карусели и земля все еще вертится перед вашими глазами.

Вы стоите на углу Бродвея, видите, как в несколько рядов несутся перед вами люди, автомобили, и какой-то особый, свойственный именно Бродвею гомон царит над всем: это шумит ночной Бродвей.

Мы посетили лишь один театр на Бродвее, который называется «Музыкальная шкатулка». Шла современная американская пьеса под названием «Остановка автобуса». Театр был полон.

Мы не разочаровались, что побывали именно в этом театре. Мы знали, что много на Бродвее дешевых, кричащих постановок. С афиш кинотеатров смотрят на вас лица перепуганных героев с пистолетами в руках. На сценах ночных клубов идут ревю, где меньше подлинного искусства, а больше порнографии.

Правда, в Нью-Йорке принят закон, по которому артисты не имеют права выступать в «костюме Адама и Евы», но прозрачные нейлоновые сеточки мало что изменяют.

Спектакль, который смотрели мы, отличался в лучшую сторону. Шла милая, может быть, чуть-чуть безысходная и грустная пьеса о любви. Любят друг друга содержательница небольшого ресторанчика и шофер автобуса, ковбой и актриса варьете. Беспросветно пьет доктор, который видит, что жизнь вокруг него скучна, а люди с их страстями уже не волнуют его. По-настоящему реалистично, с хорошим вкусом играла главную роль Ким Стенли. В пьесе все кончается благополучно. Все, кому положено, женятся, и только чуть жаль умного доктора, который под занавес, в конце спектакля, говорит, что он уходит потому, что все осталось по-прежнему, и вечерком он заглянет снова, чтобы выпить свой стаканчик.

После спектакля мы прошли за кулисы и поблагодарили госпожу Ким Стенли за интересную и талантливую

игру. Она сказала нам, что старается держать себя на сцене в духе системы Станиславского и что, пожалуй, самой большой ее мечтой был бы визит в Советскую страну и встречи с нашими артистами и режиссерами.

Ким Стенли задумалась на секунду и сказала:

— Искусство призвано возвышать человека, и я думаю, что это в искусстве главное.

Мы попрощались. Придя в номер, я решил еще раз перечитать программу спектакля. Только тут я заметил, что большими буквами в ней было написано: «В случае воздушного нападения все зрители обязаны остаться на своих местах и выполнять указания комиссара по гражданской обороне...»

Что это? Я перевернул страницу в надежде, что, быть может, программа была опубликована еще в годы второй мировой войны. Но нет, она выпущена только что, и на ее пятидесяти страницах рекламировались автомобили новейших марок.

Фраза в программе не продиктована заботой о горожанах. Ничьи самолеты не угрожают Америке, и это хорошо понимают сами американцы. Но есть в Соединенных Штатах люди, которым непременно хочется испортить человеку настроение, даже в те часы, когда шумит ночной Бродвей.

ЛАССО В ВОЗДУХЕ

Сознаюсь, всем нам очень хотелось повидать в Америке настоящих ковбоев, вольных сынов душистых прерий, укротителей диких лошадей,— словом, дальних родственников героев Фенимора Купера. Но первый ковбой, которого мы встретили на ферме г-на Итона, при всем том, что внешне он оправдывал наше представление о ковбоях, оказался скотником. Как признался этот паренек, он ни разу не ездил верхом на лошади.

— На лошадях ездят там.— И паренек махнул рукой куда-то вдаль, подчеркивая выражением лица и жестом невозможность истинно ковбойской жизни в районе промышленного Кливленда.

За завтраком у г-на Итона мы, конечно, в шутливом тоне рассказали об этой короткой беседе. Амери-

канская журналистка, сидевшая за столом, совершенно серьезно спросила нас:

— А правда ли, что русские казаки до сих пор ездят даже по Москве верхом?

Так как Анатолий Софронов родом с Дона, мы попросили ответить его. Он подумал немного и заявил:

— Пожалуй, это так. Вот я, например, каждое утро отправляюсь на работу в «Огонек» на скакуне.

Журналистка принялась записывать его слова в блокнот. Но присутствовавшие засмеялись так весело и громко, что она поняла нелепость своего вопроса.

«Наконец-то!»— сказали мы себе, когда в программе поездки появилась строчка: «Посещение «Коровьего дворца» и ковбойские состязания».

«Коровий дворец» Сан-Франциско — огромное, ангарного типа сооружение. Не знаю, кому пришло в голову назвать его дворцом. Видимо, сказалась привычка к пышности и преувеличениям. В центральной части здания находится большой манеж с местами для двенадцати тысяч зрителей, где происходят спортивные, вернее, цирковые, представления; на одно из таких представлений мы и попали.

Вспыхнули прожекторы. Трибуны погрузились в полумрак. Зато еще более резко выделялась арена, посыпанная золотистыми опилками. Справа от нас за невысокой загородкой ревут возбужденные быки, тревожно ржут кони. Щелчок бича — бык мгновенно вылетает на арену. Но тут же, ослепленный прожекторами, на какую-то долю секунды он останавливается, упирается передними ногами в землю, клонит голову, будто хочет пропороть своими острыми рогами световую завесу. Освоившись, бык снова мчится по арене. Но уже вылетел всадник. Он пришпоривает низенькую быструю лошадь, лассо свистит в воздухе. Бык, схваченный у шеи веревкой, грохается оземь. Лошадь продолжает натягивать лассо, а ковбой подбегает к быку и треножит его.

Всадник сменяет всадника. Судьи объявляют время, за которое ковбои управляются с быком:

— 14,7 секунды,—слышится в зале.

— 14,5...

— 14,3...

Быстрее никто не смог совладать с ошалевшим бычком. Правда, бычок, на котором был поставлен рекорд,

совершил не предусмотренную программой манипуляцию. Когда его освободили от пут, он прыгнул через полутораметровую загородку, отделявшую манеж от трибун, и под визг зрителей помчался вдоль первых рядов. Положение создалось критическое. Представление вполне могло окончиться робкой схваткой какого-нибудь перепуганного зрителя со взбешенным животным.

Бычок наращивал скорость и, казалось, готовился совершить новый прыжок, прямо в толпу. И вдруг появился высокий полный человек в тяжелых пыльных сапогах, помятой широкополой шляпе ковбоя. Он перегородил собой проход и ждал, когда бычок вылетит на прямую. Тысячи людей замерли, ожидая столкновения. Бык пригнул голову, готовясь смести человека.

— А-а-а...— пронеслось уже над рядами.

Гигант сделал удивительно ловкий скачок к самой изгороди, как бы сторонясь животного. Но тут же сбоку намертво, в полном смысле этого слова, схватил быка за рога и подмял его под себя. Рев восторга пронесся над ареной. А человек встал с колен, как-то равнодушно пнул присмиревшего бычка и исчез.

— Старина снова показал себя,— услышали мы голоса.

— Он силен и ловок. Не понимаю: почему его выгнали?

— Стар. Седая голова не привлекает зрителей.

— Он приходит сюда каждый вечер.

— Видно, надеется разживиться долларом.

Речь шла о смельчаке, который совладал с бычком. Глаза снова стали искать его мощную фигуру. Но нет, этого человека не было в зале. Видно, хозяин программы выпроводил его из манежа. Здесь не нужны старые люди.

Охота с лассо была лишь началом представления. Истинно ковбойский номер — родео: всадник на необъезженной лошади. Вот тут действительно нужна большая ловкость и смелость. Испуганное, разозленное животное подпрыгивает, встает на дыбы, вскидывает задние ноги, взвивается, а ковбой должен продержаться на лошади до удара гонга. Одна из лошадей, отчаявшись скинуть всадника, повалилась на бок и хотела смять человека. Ковбой едва высвободил ноги из стремян. Правда, это случилось после гонга, и зрители тепло приветствовали смельчака.

У сидевших сзади зрителей мы спросили, действительно ли на арене дикие, необъезженные лошади. Американцы молча переглянулись, видимо, удивленные нашей наивностью.

— Обычные лошади. Только их седлают особо. Когда человек садится, лошадь испытывает дикую боль...

До поздней ночи продолжалось родео, наездники демонстрировали на манеже высший класс верховой езды Хотя мы не получили полного представления о ковбоях и их жизни, все же теперь с некоторым основанием можем считать, что видели современных ковбоев — верхом на лошади и с лассо в руке.

В этих представлениях участвуют всадники из Техаса, Аризоны, Калифорнии. Ловкие предприниматели делают бизнес на интересе путешественников и туристов к состязаниям ковбоев. А кроме того, продемонстрировав парадную сторону их жизни, они отвлекают внимание от истинного положения вещей в ковбойских штатах.

Живут же там не так красиво, как на манеже «Коровьего дворца». Достаточно сказать, что сельскохозяйственные рабочие во многих штатах Америки получают за свой нелегкий труд в два раза меньше, чем городские, хотя и у рабочих в городе, даже по официальным статистическим данным, средний заработок очень невелик. Его едва хватает на предельно скромное существование.

Но в США мало кого волнует жизнь простого, скромного рабочего человека. Профсоюзы в сговоре с предпринимателями, а крупные промышленные и финансовые воротилы заботятся лишь о росте своих доходов. Прибыли 428 американских корпораций в третьем квартале 1955 года составили 2 169 180 тысяч долларов против 1 650 603 тысяч долларов в третьем квартале 1954 года, то есть увеличились на 34,4 процента.

Монополии получают бешеные прибыли и благодаря тонкому и хитрому сговору всесильных магнатов между собой. Миллионеры действуют отнюдь не разобщенно

Когда мы через день после посещения ковбойских состязаний приехали в торговую палату Сан-Франциско, ее вице-председатель мистер Фокс спросил, как нам понравилось в «Коровьем дворце». Мы ответили ему, что там выступают действительно ловкие люди.

Но разговор о «Коровьем дворце» был лишь маленьким вступлением к более интересной беседе— о деятель-

ности сан-францисской торговой палаты. Прежде всего мистер Фокс постарался объяснить нам смысл и принципы деятельности палаты. Для того, чтобы изложить их, пришлось бы написать отдельную книгу. Но если говорить коротко, то принципы эти состоят в том, что могущественнейшие капиталисты города координируют в торговой палате «свои усилия». Следует учесть, что в Сан-Франциско самый крупный в капиталистическом мире банк. Отсюда особое значение и влияние сан-францисской торговой палаты.

— Палата — дело общественное,— говорил мистер Фокс,— и она лишь сотрудничает с различными организациями.

Мы тут же задали вопрос:

— А случалось ли, чтобы кто-нибудь не подчинился рекомендациям торговой палаты или действовал против нее?

Мистер Фокс иронически покачал головой:

— О, таких случаев, конечно, не было! Мы стараемся улаживать все по доброй договоренности. Но если кто-нибудь хочет пойти против, он, конечно, может это сделать.—Мистер Фокс снова покачал головой и добавил:— Хотя, конечно, ему будет очень трудно.

И мы поняли: за последней частью ответа мистера Фокса скрывается многое. Вот так, под вывеской сугубо общественной организации, собирают свои силы финансисты, магнаты промышленности и сельского хозяйства. И сколько бы ни бились иные маленькие предприниматели, пытаясь предотвратить создание монополий, разгадать сложные и опасные финансовые сделки, бороться невозможно: в торговой палате сидят слишком богатые люди.

Гуляя по одной из улиц Сан-Франциско, мы остановились возле двух забавных небольших автомобилей. Они скорее напоминали детские машины, хотя по отделке чувствовалось, что это отнюдь не игрушки. Оказалось, что автомобильчики— пионеры электрических машин. Рекламировал и продавал их на улице пожилой человек по имени Ерли М. Перри. Когда мы остановились около машин, он засуетился и заговорил тоном бойкого продавца:

— Машина проходит без перезарядки много-много миль. Расходует минимальное количество электричества

стоимостью в полтора доллара на весь пробег. Скорость машины — тридцать миль. Вы можете ехать на ней куда угодно, хоть в пустыню, и не думать о том, что у вас кончился бензин.

Видимо, уловив на наших лицах сомнение, мистер Перри переменил тон.

— Я понимаю,— сказал он.— Но тогда позвольте хоть сфотографировать вас рядом с машиной. Для меня это большая реклама.

Построив нас около автомобильчиков, мистер Перри быстро сделал несколько снимков. Чувствовалось по всему, что он озабочен.

— Не очень веселые дела, мистер Перри? — спросили мы на прощание.

— Конечно,— ответил он.— У меня маленькое дело, и нам трудно бороться,— мистер Перри ласково потрогал борт своего автомобильчика,— с большими и серьезными конкурентами.

Я хотел было порекомендовать мистеру Перри обратиться в торговую палату. Ведь там новинка, как утверждал мистер Фокс, должна получить всяческую поддержку. Но тут же вспомнил: членами торговой палаты являются недосягаемые для мистера Перри люди, и они вряд ли поддержат его производство. Не потому ли и приходится мистеру Перри торговать своими машинами прямо на улице?

Вечером делегацию пригласил к себе в гости известный сан-францисский журналист и издатель Майкл Ньюхолл. Его маленький, однако богатый домик расположен на высоком холме, но уже не в Сан-Франциско, а в Окленде. К домику ведет частная, лично мистеру Ньюхоллу принадлежащая дорога, которая, как и домик, стоила владельцу не один десяток тысяч долларов. Майкл Ньюхолл располагает солидными средствами; нажил он их главным образом на газетном деле, а часть из них получил по наследству.

Окленд и Сан-Франциско — такие близкие соседи и так удобно связаны Оклендским мостом, что почти невозможно понять, где начинается один и где кончается другой город. Во всяком случае, ночью из окон домика Ньюхолла огни двух городов сливаются воедино. Их так много, что кажется, Млечный Путь мерцает не на небе, а на земле. Правда, есть «маленькое»— для мистера Ньющ

холла оно действительно малоприметное — препятствие на пути из Сан-Франциско в Окленд. С обеих сторон моста поставлены сторожевые будочки. Служители в форме взимают за проезд машины в один конец двадцать пять центов. Туда и обратно стоит полдоллара, и так сумма увеличивается по мере повторения проездов. А два доллара — это уже для рядового семейного человека серьезные деньги. Если же американец работает в Сан-Франциско, а квартира у него в Окленде, месячное путешествие по мосту стоит ему двадцать—тридцать долларов. Это только путешествие по мосту. А стоянка?

Вдоль всех улиц американских городов расставлены чугунные столбики со счетчиками. Поставил машину — опускай монету. Причем через полчаса или час, в зависимости от таксы, надо вновь платить, иначе счетчик, в котором есть часовой механизм, покажет, что стоянка не оплачена. Подойдет полицейский — плати штраф. И еще двадцать пять — тридцать долларов в месяц приходится вытаскивать из кармана американцу.

Короче говоря, в глазах жителей Окленда и Сан-Франциско несколько меркнет очарование моста.

Но это не касалось гостей мистера Ньюхолла. У него собрались преуспевающие журналисты, писатели, юристы, врачи. Тут была самая пестрая публика, и многие пришли к хозяину, конечно, для того, чтобы повидаться с советскими журналистами. Как и водится в таких случаях, нам рассказали обо всех городских новостях. Кое-кто сокрушенно покачивал головой по поводу заметки, опубликованной в газете «Сан-Франциск кроникл». В ней сообщалось, что в Денвере арестована женщина тридцати трех лет за то, что она продала свою двойню. Кто-то бросил фразу:

— Чудачка, за сто пятьдесят долларов! Ведь это небольшие деньги.

Услышав эти слова, высокий мрачный человек, который весь вечер пил виски с водой, резко проговорил:

— Небольшие деньги! Для тех, кто имеет бóльшие...

Мрачный мистер подошел ко мне и спросил, видели ли мы что-нибудь поучительное во время визита в Калифорнийский университет. Я ответил, что делегация пробыла там всего несколько часов, а за короткое время, конечно, трудно понять, чем живут студенты.

— Конечно, трудно. — И мрачный мистер кивнул го-

ловой.— Но в общем-то студенты там — забавный народ. Жаль только, что они все время проигрывают стенфордским футболистам. Вы знаете,— продолжал он,— у студентов Калифорнийского университета есть такая традиция: перед встречей со стенфордцами сжигать чучело индейца, потому что фигура индейца — символ этого университета. Говорят, за последнее время они сожгли шесть чучел и все шесть раз проиграли.— И мрачный мистер громко рассмеялся.

Я согласился с тем, что калифорнийские студенты, видимо, неплохой народ, и рассказал, как тепло встретили делегацию в студенческой газете «Дейли Калифорния». Редактором в газете работает застенчивая и очень милая девушка Алис Булдин. Она с охотой показывала свою маленькую редакцию. Когда делегация уходила, студенты хором закричали по-русски: «До свидания!»

— И они были правы,— снова вставил реплику мой собеседник.— Именно «до свидания». Вот мне, например, будет жаль прощаться с вами сегодня. Оказалось, что все вы очень милые люди и с вами просто приятно беседовать. Кстати, вы что-нибудь знаете о нашей актрисе Марлен Монро? Это, конечно, не киноактриса, а больше: кинозвезда!.. Так вот, она сейчас остепенилась, разыгрывает из себя серьезную даму и, знаете... хочет сыграть Сонечку Мармеладову Достоевского. Роль у нее может и не получиться. Но все-таки русский писатель!

Я ответил, что у нас есть много хороших писателей и много хороших ролей, в них могли бы попробовать себя американские актеры и актрисы.

— Скоро вы будете в Голливуде. Я советую вам высказать им это.— Мистер снова начал тянуть виски.— Я, наверное, грубо сказал по поводу ста пятидесяти долларов,— вернулся он к началу разговора.— Но это правда. Я знаю, вы были в «Коровьем дворце» и слышали там, как свистит лассо над шеей бычка. Когда человек слышит подобный свист, ему делается жутко.— Мистер помолчал, будто подбирая слова, чтобы закончить свою мысль: — Я понимаю женщину, которая продала своих детей. Может быть, и ей послышался свист лассо...

Красный флаг



Если бы какой-нибудь не очень следящий за событиями в мире австралийский житель прибыл в Мельбурн 23 ноября 1956 года, он, наверное, испугался бы. И было от чего прийти в изумление. Всегда размеренная и даже ленивая жизнь этого города финансистов, мелких рантье, торговцев, служащих внезапно оборвалась. Казалось, человеческие реки и ручьи на улицах прорвали какую-то невидимую плотину, сковывавшую их прежде, и понеслись вскачь. Людские толпы остановили движение транспорта, трамваи на Коллинс-стрит образовали длиннейший, стовагонный состав. Автобусы въехали на тротуары, а пешеходы хлынули по мостовой. Полицейские, поначалу стремившиеся навести порядок, захваченные событиями дня, смешались с ревущей, размахивающей руками, мятущейся публикой и тоже старались куда-то протиснуться.

Только с самолета можно было бы понять направление, в котором передвигалась, образуя бесчисленные во-

довороты, многотысячная толпа. У здания вокзала, серые, прокопченные стены которого как бы разрезали поток надвое, шпалеры войск и полиции затормаживали движение человеческих масс. Полицейские и солдаты, вспотевшие, с красными, перекошенными от натуги и злости лицами, вели героическую «оборону» мостовой. Ждали проезда принца Эдинбургского, мужа английской королевы. Наконец в открытой черной машине проследовал высокий гость. «Фронт был сдан». «Неприятель» — то бишь мельбурнский житель — немедленно, даже не приводя в порядок своих рядов, рванулся вперед. Куда?

В стороне от главных магистралей города высилось огромное здание, внешне напоминавшее замок, сооруженный в ультрасовременной манере. Узкие щелочки двери медленно втягивали цепочки людей. Олимпийский стадион гудел, ухал и вздыхал своей стотысячной грудью. А цепочки все тянулись и тянулись в него, переполняя чашу. Это был особенный день в спортивной жизни. Признанные стайеры мира оспаривали друг у друга дистанции в 10 000 метров. 10 000 метров!.. Победитель «десятки» всегда становился героем. Кто не помнит финна Нурми, которому при жизни был поставлен памятник, советских бегунов братьев Знаменских, чехословацкого мастера Затопека! В тот ноябрьский день, о котором я рассказываю, два имени были на устах у людей — Куц и Пири. Англичанин и русский. Бегун в белом и бегун в красном. Кто из них совершит круг почета? Но прежде чем мы как бы еще раз придем на скамью стадиона, вспомним кое-что.

В те дни мир жил не только ожиданием олимпийских игр. Может быть, впервые с того часа, как пал рейхстаг, так отчетливо угрожал человечеству призрак новой мировой войны. Англичане, французы, израильтяне обрушивали на Египет «благочестивые» и «просветительные» тонны аммонала, тротила, свинца и стали. Плакали обожженные огненными всполохами дети и матери Египта. Война подожгла карту мира, и языки ее пламени тянулись все дальше, грозя, подзадоривая, предупреждая. Хортистские молодчики вешали на телеграфных столбах патриотов народной Венгрии. Матери Венгрии протянули руки советским солдатам: «Остановите войну!» И русские матери тоже получали в тот месяц конверты с черной каймой и тоже плакали. Помните, как сказал

тогда советский народ обезумевшим господам: не сердите нас, не выводите из терпения простых людей мира, не забывайте истории и ее уроков!

Дни ноября были очень невеселыми и очень тревожными. И когда из Ташкента вылетела в Австралию советская олимпийская команда, я не заметил улыбок на лицах спортсменов. И даже хотели ли они уезжать в такой час далеко от дома, в Британскую империю?! Бушевали тогда буржуазные газеты: «Русских не примут в Мельбурне», «Откажемся состязаться с ними!»... Но 400 советских парней и девушек все же летели в Мельбурн.

Вы поймете, наверное, почему так неистовствовали некоторые болельщики на трибунах стадиона 23 ноября 1956 года. Да, по олимпийским правилам запрещено придавать политический характер состязаниям. Спорт есть спорт! Простые люди — а таких все же немало было в Мельбурне—хотели видеть в этом состязании лишь спортивное единоборство. Но нашлись другие. Страницы специальных выпусков пестрели: «Схватка русского с англичанином — это больше, чем бег». Об этом же вещало радио, об этом же не без ехидных улыбок говорила знатная и богатая публика на стадионе. Ах, как хотелось ей победы Пири!

Давайте и мы присядем на скамью стадиона вместе с тем десятком советских людей, что оказались тогда в Мельбурне.

Старт. И сразу как будто включили тысячекиловаттные репродукторы — так взревели трибуны. Не слышно голоса диктора. Три круга позади. Все вскочили. К реву голосов прибавился глухой топот 100 тысяч пар ног. Куц ведет бег! Но нам кажется, что он движется тяжелее Пири, что крики толпы создают дополнительное препятствие, как бы осаживающее спортсмена. Пробуем тоже кричать. Куда там! Это еще больше подзадоривает наших донельзя возбужденных соседей.

Тренер Куца Григорий Исаевич Никифоров, пожилой, с крупной головой, спокойный человек, хрустит пальцами и, кажется, ломает их на маленькие кусочки «Что будет? Как пойдет дальше? Вы как задумали бег?»— сыплются вопросы.

Куц впереди! Он, правда, несколько раз пытался уступить дорожку англичанину, чтобы и тот пролидировал,

принял на себя воздушную стену. Но Пири хитрит. Он считает, что Владимир Куц не так «резв» на финише, и там он собирается обойти его. Мы понимаем, что Куцу надо, надо увидеть хотя бы на долю секунды своего противника. Увидеть и взвесить, на что он способен еще. Боец ли он? Но Пири сзади и не желает выходить — вести бег.

Прошли минуты. Почему-то заметались по полю одетые в оранжевые костюмы судьи. Что это? Куц финиширует? Судьи вскакивают на подмостки. Они начинают размахивать дощечками с цифрой оставшихся кругов. И, в самом деле, могло показаться, что Владимир, резко оторвавшись от Пири, идет на финиш. Но нет, это прием. Куц изматывает кумира публики. Он заставляет его трижды как бы финишировать вместе с собой. Трижды! Но впереди четвертый, главный финиш. Пири уже не тот. Его длинные ноги, только что казавшиеся ветвями гибкого дерева, волнующегося под напором сильного порывистого ветра, начали передвигаться медленнее, ленивее. О, что делал стадион, заставляя Гордона Пири бежать! Крики и крики подхлестывали его, и он еще раз приблизился вплотную к уверенно двигавшейся, как стрелка хронометра, фигурке Куца.

Следует еще один тактический прием Куца. Он все же уступает дорожку Пири. Тот не успевает спрятаться за спину Владимира и на мгновение оказывается первым. И Куц увидел противника. Увидел! Понял! Теперь он не страшен ему! Недаром в тот же день вечером газеты писали: «Когда перед глазами Гордона Пири перестала колыхаться красная спина Куца, он стал похожим на быка, перед которым не оказалось красного плаща тореадора...»

Куц победил. Но я вновь напомнил историю этого потрясающего состязания не только потому, что она сама по себе удивительна. Я всегда буду помнить, что случилось потом, в ту секунду, вернее, минуту, когда Владимир Куц переступил последний, 10-тысячный метр дорожки. Нам всем показалось, что мы оглохли или какое-то необычайное явление лишило всех других присутствующих голоса. На стадионе было тихо. Нет, это не то слово. Если бы закрыть глаза и не видеть замерших в неестественных позах людей, могло показаться, что ты в пустой комнате, да еще где-то в подземелье. Но

так было недолго. Куц все еще бежал, хотя финиш остался позади.

Постепенно приходя в себя, видя улыбку, искреннюю, честную, счастливую, на лице советского спортсмена, загудел в приветствии стадион. Вначале робко, как бы сомневаясь, стоило ли это делать, потом все решительнее. И вот уже такой же, как прежде, громогласный крик потрясает воздух. Но только теперь люди скандировали имя другого бегуна: «Куц! Куц! Куц!» Все встали. Честная, открытая улыбка, как бы перешедшая с лица бегуна на лица многих зрителей, засветилась в рядах. Потом Куц сошел с дорожки, а мы все продолжали стоять. О чем думалось в ту минуту? Этого не скажешь. Но я хорошо помню лицо Григория Исаевича Никифорова, внешне спокойное, без тени усталости. Только возле горла его бился какой-то комок, как будто сердце перекочевало сюда из грудной клетки. Как-то неуверенно, робко военный оркестр начал играть Советский Гимн. Но потом музыканты взяли дружнее, и звуки, усиленные и размноженные десятками репродукторов, понеслись над вечерним Мельбурном. На мачте, белой высокой олимпийской мачте, в первый, но не в последний раз появился огромный красный флаг нашей Родины. Ветер подхватил его, развернул полотнище, и оно несколько минут сияло над стадионом.

Поздним вечером через моря и океаны мы услышали голос Москвы и передали туда сообщение о нашей победе, о том, что и в Австралии в ноябре был поднят красный флаг СССР. Мельбурн затихал после взбудораженного дня, и только в окна неслись веселые гортанные голоса мальчишек, продавцов газет. Они кричали: «Красный флаг над Мельбурном!», «Красный флаг над Мельбурном!».

СИДНЕЙ — ГОРОД ДОКЕРОВ

Полет из Мельбурна в Сидней занимает всего около двух часов. Но хотя эти города лежат недалеко друг от друга, они очень разные, даже внешне. Мельбурн — большая деревня с низенькими одноэтажными построечками, коттеджами и виллами, затерявшимися в

густой зелени субтропических кустарников и цветов. Район высоких домов, или, как говорят в Мельбурне, Сити, невелик. Кажется, улицы пришли в центр огромного дачного поселка откуда-то из другого места, растолкали, разбросали нехитрые порядки особняков, встали, подбоченясь, в их центре и сказали: мы и есть Мельбурн. Если смотреть на Мельбурн сверху, с самолета, никак не уловишь, где он начинается и где кончается. Этот город — финансовая столица Австралии, и те несколько центральных улиц, о которых я сказал, сплошь заставлены помпезными коробками банков. По их названиям нетрудно уловить зависимость австралийских капиталов от капиталов других, более могущественных стран западного мира. Банков так много, что даже выставка изобразительного искусства, открытая в честь олимпийских игр, была размещена в холле какого-то финансового предприятия, и около картин в масле и акварели мелькали дощечки с надписями: «Обмен валют», «Европейские операции» и прочее.

— Сидней — город другой. В центре его масса старых, потускневших уже домов. Они взбегают с холма на холм, улицы переплетаются между собой, образуя каменный дымный лабиринт, к которому робко подступают пригородные поселки. Конечно, и в Сиднее немало финансовых контор и банков, но стоит очутиться на его земле, и вы почувствуете иной тон жизни города. Недаром Фрэнк Харди, известный австралийский писатель, метко назвал его промышленным сердцем страны. Наверное, чтобы понять и услышать это сердце, нужно было бы прожить в Сиднее довольно долго. Но даже за два дня, что провела здесь небольшая группа наших спортсменов — гостей Австралийско-Советского общества дружбы, кое-что удалось увидеть и узнать.

Прямо с аэродрома мы отправились в здание профсоюза строителей, который давал прием в честь советских спортсменов. В большой комнате, где свободно размещалось около трехсот человек, было шумно и весело. Едва первый из нашей группы переступил порог, как раздались дружные крики приветствий и, подобно басовому аккомпанементу, громыхнули тяжелые, звучные аплодисменты. Чувствовалось, какие крепкие ладони ударяют друг о друга. На длинных столах вдоль стен комнаты стояли батареи пивных бутылок (пиво в Австралии счи-

тается национальным напитком). Не успели спортсмены прийти в себя, как десятки золотистых пенистых бокалов потянулись к ним, и чей-то рокочущий бас провозгласил: «За успехи советского спорта, за его золотые медали, за его огромную победу!»

Как часто бывает на таких встречах, только когда зажгли электричество, все поняли, что пора уже прощаться. Один из хозяев вывел на середину комнаты Григория Исаевича Никифорова — тренера Владимира Куца.

— Очень жаль, но мистер Куц приедет к нам только завтра,— заговорил он.— Сегодня мы приветствуем здесь его правую ногу, уважаемого господина тренера. Через вас мне хотелось передать несколько слов знаменитому бегуну. Мистер Куц не только обогнал соперников на дорожке, но доказал нечто большее, и мы считаем его национальным героем Австралии. Я докер и уже много лет торчу возле плавающей посуды. Докеры у нас, поверьте,— хорошие парни. Может быть, правда, они пьют пива чуть больше нормального представления о вместимости человеческого желудка, но у них есть на это особое разрешение морского царя. Я прошу передать Владимиру Куцу от имени многих докеров, что он может считать себя нашим братом, докером Сиднея. И мы даже освободим его от пивного бремени, если это поможет ему бегать быстрее.

Много раз нам, журналистам, приходилось слышать в Австралии речи и приветствия в адрес советских спортсменов. Но никогда не забудутся эти шутливые и вместе с тем полные высокого душевного смысла и теплоты слова.

Мы поблагодарили хозяев, сказали им, что непременно передадим Владимиру Куцу все, что услышали здесь, и распрощались.

Путь до гостиницы «Астра», где мы остановились, занял около часа времени. Было уже поздно, а ночью очень трудно отличить один город от другого. Рекламы, огни ресторанов, кабаре, кинотеатров, бензиновых колонок удивительно похожи друг на друга в Копенгагене и Чикаго, в Стокгольме и Мельбурне. Но все же Сидней и ночью оправдывал свое название промышленного сердца Австралии. По темному южному небу метались огненно-красные сполохи пламени. Это заводы, подступившие к самым его стенам, плавили сталь, собирали машины, клепали корпуса судов. Гостиница «Астра» стоит на са-

мом берегу океана, так близко, что в сильный ветер соленая пыльца залетает в окна. В эту ночь океан глухо стучал в скалистый берег. Казалось, огромной силы молот трудится где-то рядом.

Он и разбудил нас ранним утром. Принесли газеты. Попалась на глаза заметочка о вчерашней встрече с профсоюзными руководителями Сиднея. «За последние годы ни разу еще не собирались вместе такие представительные профсоюзные деятели, как вчера на вечеринке в честь советских спортсменов»; «Блондинка в розовом платье (речь шла о Галине Зыбиной) была, безусловно, в центре внимания всех. Глядя на нее, и не подумаешь, что она сильнее доброй половины мужчин в Сиднее»; «Русские были только что с самолета, но они держались приветливо, как будто много раз уже бывали в нашем городе».

Но, видно, хозяевам газет непременно надо было хотя бы в конце заметочки навести тень на ясный день. Брюкам одного спортсмена отвели значительную часть «литературного труда». Первое — почему они светло-синего цвета, второе — в Париже носят брюки на два сантиметра короче, третье... Впрочем, нет охоты вслед за брючным репортером перебирать все его «претензии».

После завтрака мы вышли на улицу и встретились у подъезда с нашими вчерашними друзьями-докерами. Они пригласили посмотреть город. Один из докеров, по имени Сид, подошел к обладателю «сенсационных брюк», пристально оглядел паренька, хлопнул его по плечу.

— Все о'кэй!— весело подмигнул он.— Не унывайте, может быть, на этом щелкопере они и помоднее, но ведь важно, кто носит костюм...

Сид захохотал, подтянул свои парусиновые штаны так, что были видны икры, и, покачивая бедрами, прошелся по тротуару: «Мсье, мадам, как я вам нравлюсь?»— и он галантно распахнул дверцу своего крошечного старенького автомобильчика, приглашая отправиться в путь.

Сидней — самый большой город Австралии. В нем живет более двух миллионов человек. Это трудовой народ, подавляющее большинство его занято на многочисленных заводах и предприятиях.

Океан врезался здесь в скалистый берег десятками маленьких и больших заливчиков. Идешь иной улицей

и дивишься — огромные пароходища стоят бок о бок с домами, разбросанными по извилистым берегам гавани. Сидней занимает огромную площадь. Часами нужно кружить по асфальту, прежде чем попадешь из одного его конца в другой. В нем приметы трудового лица города видны отчетливо. Как и в Мельбурне, правда, здесь есть богатые районы. Там виллы утопают в цветении роскошных роз, но чаще перед глазами крошечные, прямо в три четверти натуральной величины домики, до черепичных крыш которых может свободно дотянуться человек среднего роста. Земли возле таких домиков всего два — три квадратных метра, но хозяева бережно и любовно используют ее. Каждый сантиметр занят цветами. Я бы сказал, здесь вообще нежно относятся к цветам, и города в теплой Австралии похожи на ботанические сады.

Но вот порт. Бесконечные ряды серых, грязных, прокопченных складов, гул многотонных грузовиков, проталкивающихся сквозь каменные горловины улиц и переулков, портовые краны, как гигантские птицы, поклевывают свою добычу, и над всем этим висит какой-то особый, присущий именно порту шум, соединяющий в себе тысячи различных звуков. У причалов плотные, коренастые люди — докеры. Они кажутся вам сначала чуть медлительными и даже, пожалуй, неуклюжими, но если приглядеться к ним, увидится хватка ловкачей в их неторопливых, но точных и ладных движениях. Сид, всю дорогу забавлявший нас морскими «байками», перестает шутить.

— За несколько часов не влезешь в душу такого человека, — размышляет он вслух и смотрит вместе с нами на группу докеров.— Но если уж ты попал сюда,— и он невольно постукивает себя по груди,— будь спокоен, тебя не подведут.

— Хелло, Джордж,— подзывает он невысокого парня,— знакомься, это советские ребята.

Джордж не спеша вытирает руки о тряпку, что висит на его поясе, выбрасывает изо рта сигарету и молча тискает наши руки.

— Ну, как вам у нас? — спрашивает он, глядя прямо в глаза собеседнику.— Понимаю, трудно ответить сразу... По-разному вообще-то,— договаривает он, растягивая слова.— Стаканчик пива? Торопитесь?! Ну, да мы встретимся вечером.

Джордж машет рукой и поворачивается к груде кулей с шерстью.

Сид подмигивает: поняли, дескать, какой хлопец. Он включает скорость, и вскоре автомобильчик выбирается на высокую скалу, где перед нами развертывается дивная панорама неохватной шири Тихого океана. Океан весь трепещет, мерцая голубовато-зелеными искрами, как будто, как и в Мельбурнском бассейне, кто-то изнутри подсвечивает воду мощными электрическими прожекторами. Кромка берега опоясана несколькими рядами колючей проволоки. Сид объясняет:

— Этот обрыв — любимое место самоубийц, их довольно много. Вот и защищаются власти от упреков... колючей проволокой. Прямо как на войне. Да разве в проволоке дело?!

Внизу пенятся волны, обнажая огромные острые камни. Так и хочется сказать «Бppp!..», глядя на кипение волн, и отойти в сторону.

Сид понимает общее состояние.

— Лучше я вам покажу более примечательное местечко,— сообщает он.— Мост, который, возможно, никогда не будет построен. Удивляетесь? Сейчас все объясню.

Пока мы добираемся к непонятному мосту, он рассказывает, в чем дело. Одна английская компания взялась построить в Сиднее мост. Хозяева решили хорошо заработать на выгодной сделке и начали платить рабочим меньше, чем на других подобных стройках. И вот уже три с лишним года почти каждую неделю объявляется здесь забастовка. Повышают хозяева плату — начинается работа, только снизят — стоп дело.

— Этот мост — крепкий орешек,— щурит глаза Сид.— Его просто так не раскусишь. Мы ведь должны держаться за свои права. Жизнь дорожает, и только наши руки могут прокормить нас. Видите, друзья,— кивает Сид в сторону,— года три назад этот домик стоил четыре тысячи фунтов, а сейчас, пожалуй, все шесть. Семьдесят фунтов в месяц — приличный заработок. Из него 10—15, если откажешь себе во всем, можно отложить на будущее жилье. Посчитайте — и получится: отец начинает копить деньги, и только сын станет хозяином комнатушек.

Сид замолкает и долго ничего не говорит, как будто дает нам время обдумать все, что уже успел рассказать.

Пропетляв часа два по улочкам, мы возвращаемся в гостиницу. Вечером в огромиом зале Тауи-холла, городского совета, должеи состояться большой бал в честь советских спортсменов. Сид смотрит иа часы:

— Два часа в вашем распоряжении, можио отдохиуть. А я еще должен успеть собрать своих друзей и доставить их по назиачеиию.

Позже поняли мы смысл последиих слов иашего друга.

В восемь вечера более двух тысяч человек пришли приветствовать маленькую группу советских спортсмеиов. Владимир Куц, Галииа Зыбииа, Игорь Рыбак, Василий Степанов вошли в зал и, мне показалось, даже вздрогнули, так как приняли иа себя неистовый шквал, бурю аплодисментов. Хотелось закрыть уши, опасаясь за барабанные перепоики. Весь вечер потом, а ои длился миого часов, не покидала одна мысль: что побуждало сотии людей так восторженно, так радостио выражать свои чувства по отношеиию к иескольким советским молодым людям? Только ли в том дело, что оии призеры олимпийских игр? Отвечал иа приветствия руководителей Австралийско-Советского общества дружбы Владимир Куц. Я не буду приводить здесь дословно его взволиоваиную речь перед микрофоном. Мне хочется передать ес смысл.

Когда, иаходясь дома, у себя иа заводе, иа фабрике, в учреждении, вы встречаетесь с иностраниыми гостями, которые ознакомились с жизиью вашей страны и выражают свое чувство восхищения, вам легко принимать эти слова благодарности, потому что вас окружает все то, о чем говорят эти гости. Рядом с вами товарищи, ваш город, ваш иистнтут, ваши улицы и площади, и вы переносите услышанное иа что-то большое, общее. Другое дело, когда вы за границей один и вас иазывают страиным словом «иностранец». Вы поимаете, что все, что говорят вам, это говорят вашей страие, вашим товарищам, вашим друзьям, ио их иет рядом.

Помню, как Владимир Куц закончил свою речь:

— Мие тяжело, поверьте, сейчас больше, чем иа дистаиции бега. Я и мои товарищи должиы запомнить все, что услышали и увидели в зале, ваши чувства, то,

что вы хотели сказать глазами, и передать это нашим товарищам. Обещаем — мы сделаем это.

Вновь зашумел бал, вальс сменялся вальсом. И вдруг дикий крик потряс высокие своды. На галерее завязалась потасовка. Кто-то свистел, слышались удары. Все застыли и смотрели вверх. Что же произошло? Группа пьяных хулиганов, тех, кого презрительно называют новоавстралийцами, решила сорвать вечер. Но им не удалось этого сделать. Две или три минуты продолжалась возня. Потом все пришло в норму. Когда городские часы пробили час и мы собрались уходить, ко мне протиснулся вспотевший, взволнованный Сид:

— Вы ничего не видели, ничего? О'кэй, это было сделано быстро, так и должны действовать докеры. Знаете, кто молодец? Джордж. Он принял на себя трех дураков и через две минуты вышвырнул их из помещения. О, это хороший парень! Извините его, если он не был очень красноречивым при первой встрече.

Итальянская песенка дома и за границей

Два года тому назад, примерно в это же время, мне довелось быть в Сан-Франциско. Однажды вечером, когда все официальные визиты советских журналистов закончились, мы отправились побродить по городу. На самой окраине Сан-Франциско сплетаются между собой узенькие портовые улочки. Они как бы выносят к морю страсти и шумы этой бедной части города и опрокидывают их на причалы, на палубы зашарпанных пароходов, на баржи, на заваленные тюками дворы складов.

На одной из таких улочек притулилось маленькое зданьице, над дверью которого написано: «Тратория»,— что по-итальянски означает трактир. Вошли туда. Грузный лет шестидесяти мужчина с небритыми щеками и большим, как-то осевшим книзу животом по привычке стряхнул крошки со столика и безразличным жестом бросил нам карточку меню. Заказали макароны. Человек ушел, а мы опустили четвертьдолларовую монетку в щелочку

патефона-автомата и стали слушать итальянские песенки — правда, исполнялись они на американский манер. Через несколько минут появился старик с дымящейся чашей и начал раскладывать макароны по тарелкам.

— Я был у вас еще война 1914 года,— сказал он простуженным басом, подбирая русские слова. — Поняй? — обратился он к нам.

Мы утвердительно закивали головой и, в свою очередь, спросили, а как он оказался в Америке.

Дряблое тело старого итальянца качнулось под глубоким вздохом.

— Э-э, это грустная история,— ответил он и пошел на кухню.

Через минуту итальянец появился вновь. Но на этот раз он тащил с собой огромный старинный граммофон.

— Мария! — закричал он, обращаясь к кому-то. — Принеси пластинку. Да выключите вы эту американскую шарманку!— И он нажал кнопку патефона-автомата. — Разве это итальянские песенки? — продолжал он разговор. — Мария! — еще раз громко крикнул наш собеседник, но женщина, видимо, жена старика, уже появилась в комнатке.

Старик завел дребезжащую, старую машинку, присел на краешек стула. И зазвучала действительно итальянская песенка. Мы не понимали ее слов, и мелодия, стертая тысячекратным прикосновением иголки, тоже еле различалась. Но обо всем говорило лицо хозяина граммофона.

— Эта песенка о таких дураках, как я,— неожиданно проговорил итальянец. — Они уезжают искать счастья, как я уехал из Дженцано. А в песенке говорится: если ты хочешь жить на земле как человек, что-то делай, дерись за себя, за всех. Я взял с собой песенку, но я не выполнил ее заветов. Я не боролся за свое счастье. Я думал: оно само обнимет меня здесь, в Америке, как в красивых фильмах парни обнимают девушек.

Кончив ужин, мы оставили на столике несколько монеток. Большой, тяжелой рукой итальянец смахнул их в свой карман.

— Не подумайте, что я хозяин этой лачуги,— проговорил он, провожая нас к двери. — Я «бой». Да, да, «бой» в шестьдесят лет! Мою посуду, колю дрова и разогреваю

макароны. Чаще всего их едят такие же, как я, бездомные собаки, такие же, как я, дураки.

Встреча эта как-то ушла из памяти, но совсем недавно я был в Дженцано, под Римом, и разговаривал там со многими. Я спросил у мэра города Де Сантиса: сколько людей уезжает из Дженцано искать работу в другие страны? Мэр задумался и ответил:

— Из Дженцано никто никогда не уезжал. Это не наш стиль, понимаете, это не наша жизнь. В Дженцано люди борются.

— Да, но я встретил в Америке года два назад человека из Дженцано.

Мэр удивился:

— В Америке? Нет, этого не может быть!

Сидевший рядом с мэром старик что-то зашептал ему на ухо.

— А-а...— протянул мэр.— Простите, я ошибся. Кажется, в двадцатых годах семьи три уехали от нас и пропали без вести...

В тот вечер мы долго говорили с мэром, с его другом, секретарем городской организации коммунистической партии Чезароне Леопольда, о жизни простых людей в Италии, об их думах и борьбе. И как-то по-новому понималось значение того, что сотни тысяч итальянцев ежегодно вынуждены покидать свою землю, отправляясь в поисках работы за океан и в другие страны. И я внутренне соглашался с мэром, который считал, что эмиграция — дело страшное, тяжелое, что человек, покидающий свою землю, действительно несчастен, но он трус вместе с тем. Мэр говорил мне:

— Капитализм толкает миллионы наших классовых братьев на путь отчаяния, поисков, на путь бездомного бродяжничества. Если хотите,— подчеркнул он,— это входит в планы капиталиста, в планы империалистической системы в целом. Ведь таким образом капиталу удается расколоть политическое сознание трудящихся.

Вот почему,— добавил он,— я сказал, что из Дженцано никто никогда не уезжал. Дженцано — коммунистический форпост Рима, и мы гордимся тем, что здесь борются все, что люди понимают: когда они вместе, когда они объединены, когда их ведет партия, им не нужно растекаться в поисках счастья по тысячам неизвестных и маленьких дорог.

История Дженцано подтверждала слова мэра. Как важно, чтобы мы, молодые люди Советской страны, угадывали за короткими и скупыми строчками телеграфных сообщений о забастовках, о митингах всю волнующую сущность и страшное напряжение подобных событий! Мы читаем иногда: «В Нью-Йорке — всеобщая забастовка служащих метро». Наше воображение должно помочь нам увидеть забастовку, пережить ее вместе с теми, кто ведет сражение, вместе с ними волноваться, надеяться и ненавидеть.

Мне пришлось однажды видеть забастовку авиационных служащих в Париже. В таком случае особенно ощущаешь, что такое сила простого, трудящегося человека. Шикарный аэродром «Орли» замер. Не снуют тележки с багажом, закрыты окошечки касс, никто не убирает огромных залов, и окурки покрывают полы.

Когда в небе вдруг слышится шум мотора, все вздрагивают, тянутся к окнам. Это прибывают в Париж самолеты других компаний. Летят в Париж лондонские денди, коммерсанты и шансонетки из Нью-Йорка, дельцы из Стокгольма. Сытая, важная, откормленная и холеная публика. Меха, чемоданы из цветной кожи, стриженые пудели. И этот-то привыкший властвовать, распоряжаться и давать «на чай» народец испуган, разозлен. Аэродромное начальство в осаде. Раболепно кланяясь, оно хочет успокоить важную публику. Пассажиры швыряют в нос перепуганным клеркам авиационные билеты и устраивают истерики. Но поделать ничего нельзя. Компания несет миллионные убытки, но не соглашается на требования аэродромных служащих и летчиков. И те, в свою очередь, доказывают, что̀ они значат в системе общественных отношений: они не работают — и не может существовать класс, который живет, эксплуатируя труд других. Да, мэр из Дженцано прав, и понимаешь его гордость, когда он рассказывает о том, как сражаются дженцанцы.

Вот уже много лет подряд одиннадцать тысяч жителей этого городка голосуют за партию коммунистов. Много лет они видят, что коммунисты, управляющие городом, ведут дела хорошо, отстаивают интересы жителей.

Ростки такого политического движения начали проявляться в Дженцано еще в 1892 году, когда здесь было первое крестьянское движение за захват пустующих зе-

мель. В 1898 году впервые в Дженцано полиция стреляла в народ, стреляла в своих политических противников, и народ тоже видел, кто является его политическим противником. В 1906 году в Дженцано образовалась первая крестьянская лига, которая уже тогда выставила требование о шестичасовом рабочем дне для батраков. И вот уже не одно десятилетие партия коммунистов — самая популярная, самая народная партия в Дженцано.

Во время фашистского правления Муссолини 800 дженцанцев, практически каждый десятый, сидели в тюрьме. Дженцанцы сражались в партизанских отрядах, и пять из них пали смертью храбрых. Вместе с дженцанцами боролись и 14 русских бежавших военнопленных. Дженцанцы не хотели воевать против Советского Союза, и они действительно не воевали против нас.

В городке была открыта во время войны потрясающая школа... «школа эпилептиков». Да, да, я не оговорился, «школа эпилептиков». Секретарь местной партийной организации подробно рассказывал нам о тех, кто прошел эту «школу» и таким образом избежал воинской повинности. Была разработана целая система по обману врачебной комиссии. Мэр шутит:

— Это были самые стойкие и самые порядочные из всех сумасшедших, которых когда-либо видел свет.

Но он тут же становится серьезным:

— Поймите, как не просто обмануть фашистских врачей! Каких только пыток не придумывали они, чтобы обнаружить, действительно ли человек ненормален! Брали заложников, неделями заставляли людей не спать, били, запугивали трибуналом. И все-таки 380 человек, которым предстояло идти в армию, не пошли служить. Вот что значит характер дженцанцев! — И мэр похлопывает по плечу стоящего рядом с ним крутоголового, чуть сдержанного паренька.

Поздно вечером, когда теплая ноябрьская ночь заставила ярче сверкать огни на улицах Дженцано, мы отправились вместе с нашими друзьями к Умберто Бальдацци. Умберто сочувствует коммунистам, поддерживает их, но сам не вступил в партию.

В маленьком зале, где у хозяина стояла небольшая бочка молодого золотистого вина, расположились человек сорок. Дженцанские комсомольцы, люди постарше и совсем старые, которые пришли посмотреть на нас и, как

заметил Умберто, «потрогать» руками людей из страны, приготовившей искусственную Луну.

На деревянном столе крупными кусками были нарезаны хлеб и сыр. Умберто из большой красной садовой лейки разливал всем кисловатое вкусное вино. Сын его — копия отца, мальчишка лет пятнадцати — помогал угощать гостей. Видно было, как отец то и дело одобрительно посматривает на него. Умберто спросил нас:

— Легко ли учиться детям в вашей стране? В Италии выучить человека — дорогая штука! Тысячи лир надо тратить на учебники и на книги, а простой человек зарабатывает тридцать — сорок тысяч лир в месяц, из них половину нужно отдать за квартиру, а там налоги, болезни...

Мы рассказали Умберто о нашей школе. Он одобрительно закивал головой и как-то особенно нежно прижал к себе сына.

— Этим сложнее, чем вашим.— И он показал на сына. — Но они тоже не должны сдаваться. Комсомольцы — хорошие парни. Вы знаете, если они будут держаться рядом с нами, со старшими, время вылепит из них настоящих людей.

Как водится, когда стаканы с вином были наполнены в третий или в четвертый раз, все запели — на мотив нашей «Катюши» — итальянскую партизанскую песню, а потом Гимн трудящихся, полный тревожных нот и силы, и «Красную гвардию» тоже пели.

Невесть откуда пришли на огонек скрипка, банджо и гитара. И теплая встреча в каменном сарае дома Умберто Бальдацци пошла еще веселее, звучнее, задористей. Через полчаса скрипач взмок. Его черные волосы плотно прилипли ко лбу, закрывали глаза, но он не замечал этого. Он играл!

Как здорово видеть и слышать вот таких, чуть разошедшихся, чуть подвыпивших простых итальянских парней, мужчин и стариков! В такую минуту понимаешь, как сильны в них чувство товарищества и темпераментное стремление выразить себя.

Вдруг необычное музыкальное трио начало играть песенку, которую я два года назад слышал в Америке. Ту самую, грустную и веселую, нежную и дерзкую песенку. Видно было, что люди хорошо знают слова песни, что она родилась среди них, выразила их настроения и действи-

тельно принадлежит им. Все дружно пели песню. А я подошел к мэру и тихо попросил перевести ему, что в Сан-Франциско я слышал именно этот мотив и, значит, старик в трактире не соврал мне, что он из Дженцано.

Мэр задумался и сказал фразу, которая стоит в заголовке этого маленького рассказа об одной итальянской встрече:

— Вот вам итальянская песенка дома и за границей. — Мэр помедлил и добавил: — Судите сами, где она звучит лучше.

ФЕДОР ПОЕТАН — ГРАЖДАНИН ГЕНУИ

Три недели провела в Италии делегация комсомола. Наш путь по стране не совпал с традиционным туристским маршрутом, по которому ежегодно движутся миллионы иностранцев. И вначале мы пожалели об этом. Кто не влюблен в туристскую Италию с ее древними храмами, картинами и скульптурами в галереях?!

«Жалость» Микеланджело — лучшее, что есть в соборе Святого Петра в Риме. Совсем не Христос, снятый с креста, высечен из холодного белого мрамора великим художником — человек. Простой, маленький, весь поникший, мягкий и трогательный, совсем-совсем не мраморный. Кажется, постоите вы чуть-чуть подольше, он двинет рукой, откроет усталые глаза и скажет что-нибудь. Что? Как знать! Может быть, он удивится картинным сторожам в костюмах, рисованных еще Рафаэлем. Это швейцарские гвардейцы стерегут покои Ватикана. Может быть, он спросит, зачем стоят две злые старушки в черном возле портрета императора Виктора-Эммануила и тычут автоматические перья в руки любопытным туристам, призывая их ставить подписи под требованием о возвращении монархии в Италию?!

Этот воскресший и обретший плоть человек Микеланджело мог, как и вы, замереть на пустынной галерее Колизея, когда древний разрушенный цирк залит каким-то трепетным, словно театральным, лунным сиянием, и представить себе...

Впрочем, вот так-то и я чуть было не двинулся по туристскому варианту писания. Стоит остановиться. Покинем Рим с его легендами, минуем Неаполь — родину певцов, Венецию с ее зеленоватыми каналами. Главное — не пункты путешествия. Для того чтобы узнать, что творится в Италии сейчас, надо уйти из глубины веков, куда манит вас их удивительная сущность.

Однажды вечером поезд мчал нас в сторону от Рима. Вместе с нашим другом Джанкарлой Фазано, работником ЦК комсомола Италии, мы решили пройти в ресторан. Вагон, в котором мы ехали, был пуст. Кроме нас, в нем расположился лишь господин, явно раздраженный тем, что ему пришлось встретиться так близко с «советскими».

— Этот тип,— заметил Фазано,— месяц назад сменил бы купе при виде вас. Теперь ему неудобно. Вы граждане из страны спутников. Боится!

Наверное, во всем поезде таких, как наш сосед, было несколько человек — в пустых и красивых вагонах. Сотни других людей забили все проходы, тамбуры и даже соединительные площадки. Куда едет старая женщина с наклейкой на носу и с грязным ворохом бинтов, опоясавших ее шею?! А юноша в шикарных остроносых ботинках и продранных на традиционном месте штанах? Он стоит возле окна. Виден лишь его профиль.

Глубокая синяя впадина возле глаза делает его похожим на не успевшего разгримироваться артиста бродячего цирка. Юноша взглянул в нашу сторону, и мне вспомнился Палермо — шумный и суматошный город.

Был час обеденного перерыва, и на узенькой улочке творилось невообразимое. Казалось, жители спасались от наводнения или пожара. В нише одетого в леса дома примостился факир. Да, да, факир! Он привлек внимание нескольких школьников. Они следили за тем, как меланхоличный дядя в грязном халате жевал и проглатывал старые синенькие полосочки — безопасные бритвы «Жиллет».

Рядом с факиром стоял мальчишка. Он тоже жевал... булку. Факир не выдержал и отогнал этого паренька раздраженным жестом. И мальчишка как-то догадался, в чем дело. Он положил остаток хлеба на тротуар возле ног факира и пошел прочь. Каким добрым блеском ответили ему глаза «восточного кудесника»!

И сейчас в вагоне поражали глаза людей: то холодные и усталые, измученные многодневными поисками работы;

то совсем наивные, испуганные шумом, толчеей, движением поезда, и глаза вот того, с синим ободком вокруг них. Куда ехали эти люди? Искать дом? Но ведь в Риме 70 тысяч пустующих квартир! Но они слишком дороги для тех, кто населял этот поезд. Уже переходя в другой вагон, я вновь захотел встретиться с глазами странного парня. Но он отвернулся к окну и застыл. И чем-то профиль его напомнил теперь древние скульптуры в древних храмах.

Поезд спешил. Сливались по временам в нервную дробь удары колес на стыках рельсов, будто кто-то запугивал едущих людей и строчил по ним из пулемета. Мы долго шли через весь состав. Каждый вагон — свое лицо, своя судьба и даже свои запахи. В тех пустых вагонах, о которых я рассказывал, тонкий и приятный запах мыла и чистых простынь. Запах пота, лука и слез — в других вагонах, которых было больше. Будто предстала в разрезе вся Италия, двигавшаяся не по рельсам и шпалам, а по ступеням бесконечной, огромной лестницы. Только на этот раз лестница не дыбилась к небу, а распласталась по земле.

Когда мы уже заканчивали наше путешествие и оказались в Генуе, залитой солнцем, украшенной морем, город не обманул нас своим беззаботным видом. Теперь, где бы мы ни были в Италии, не шел из ума поезд, и люди в нем, и их глаза. И я еще раз почувствовал: бывают случаи, когда многое подскажут глаза человека.

Вот если подольше поглядеть в смешливые, вечно меняющиеся глаза Бруно Береллини, одного из секретарей генуэзского комсомола, можно понять: у этого парня что-то случилось в жизни. Приглядишься к нему и вспомнишь: а не похож ли он на известного актера, героя фильмов «Внимание, бандиты» и «Повесть о бедных влюбленных»?

— Это я-то? — ответит как-то загадочно Береллини.— Э-э-э,— протянет он, прищелкивая языком.— Пожалуй, я и есть.

Какой веселый человек Бруно! Наверное, вся жизнь была для него такой же красивой, такой же шумной и такой же беспечной, как у тех гуляющих на Генуэзской набережной. Подумаете так и ошибетесь.

Коммунист Бруно организовал кооператив по съемкам фильмов. Он хотел рассказать в своих фильмах о надеждах и борьбе простых людей. Все было в порядке. Прежние две картины получили премии в Карловых Варах и в

Венеции. Друзья помогли собрать кое-какие деньги. Нашлись сотоварищи. Но и враги нашлись тоже. Судебные процессы. Преследования. Он не мог понять, в чем дело. Почему мешают ему и его друзьям? И друзья ответили:

— Ты коммунист, Бруно, а они не хотят, чтобы коммунисты делали фильмы об Италии.

— Да, но я не могу жить без искусства! — кричал в ответ Бруно.— Я должен бороться! Мы, вы, все должны спасти кооператив!

И опять друзья успокоили его:

— Милый мальчик, надо спасать не кооператив, а всю нашу жизнь. Искусство — это ведь жизнь. Оно не может уйти от требований и болей жизни. Чтобы тебе вернуться в искусство, надо вернуть основу жизни. Те, кто строил собор Святого Петра, Колизей, новые красивые дома на прибрежье Генуи, и каскад электростанций в Абруццо, и многое другое — всю Италию, во все ее века, они должны управлять своей страной.

И молодого актера Береллини стали видеть в маленьких комнатках комсомольских кружков, он читал стихи докерам, и те слушали его как товарища и брата, он писал листовки и выступал на больших митингах.

— О-ля-ля, о-ля-ля,— весело скажет вам товарищ Бруно — Пауло Кастанина Саета,— мы еще станем артистами, сыграем свои роли! У нас ведь есть опыт, мы не пустим в Италию фашизм.

Друзья в шутку зовут Пауло Атосом. Он и в самом деле похож на героя Дюма: ниточка усиков над губой, круглая шляпа с широким бантом. Пауло так же галантен, как Атос, и не трусливее его. Правда, Атосу не приходилось партизанить. Зато Пауло кое-что смыслит в делах «лесного народа».

Все дни, пока мы были в Генуе, Пауло, Бруно были с нами. Мы хотели узнать что-нибудь о Генуе, а они все время говорили о Москве и о фестивале. Как-то Пауло очень серьезно сказал:

— У меня маленькая бензоколонка. Но, если завтра мне скажут, что я могу работать грузчиком на московском вокзале, я плюну на эту бензоколонку, выллю весь бензин на улицу и уеду к вам.

Его перебил Серджо Черавало, первый секретарь генуэзского комсомола:

— Подожди, милый, так-то все двинутся в счастливую Москву. А кто же будет работать здесь, в Италии?

Черавало более сдержан, чем его друзья. Но жизнь его, как и жизнь других комсомольских активистов, полна лишений и борьбы. Во всем.

Серджо рассказывает любопытную вещь. Его дочь учится в третьем классе. Целый год он воевал с учительницей, доказывая, что не хочет, чтобы его дочь посещала уроки закона божьего. Учительница была вне себя, но по итальянским законам родитель может потребовать светского образования для ребенка.

— Девочка учится хорошо, хотя ей, конечно, трудно,— говорит Черавало.— Позавчера она писала небольшое сочинение на избранную тему — о Гарибальди. И, знаете, что ей сказала учительница? «Сочинение хорошее. Но только я больше не советую тебе писать о Гарибальди. Он слишком русский».

— Он слишком русский...— повторил Бруно.— Надо докатиться... чтобы придумать такое. Кстати, я расскажу вам о русском, которого мы с гордостью считаем итальянцем. Может быть, вы найдете его родных или близких. Мы до сих пор не знаем, кому нам сказать «спасибо» за этого человека. Завтра на генуэзском кладбище вы узнаете начало истории...

Среди белых мраморных плит на кладбище мы увидели одну, возле которой остановились как вкопанные. По-итальянски были написаны знакомые слова: «Федор Александрович Поетан». Кто он, этот человек с русским именем и с русским лицом на фотографии, прикрепленной к мраморной плите?

Не раскрыта до конца судьба этого человека. Комиссар одной партизанской бригады, Арнальдо Бризи, рассказал нам о Федоре Поетане. Он не помнит, как он появился в бригаде, человек в гимнастерке Советской Армии. Никто не расспрашивал Поетана подробно о его прошлом. Знали только, что он из Горловки.

В 1945 году в феврале, когда до победы было всего несколько десятков дней, его отряд должен был прикрыть в местечке Капелупа Лигуре партизанские обозы с женщинами и детьми. Однажды, когда у бойцов отряда не оставалось сил, он поднял своих в атаку. Он приказал бойцам метаться из стороны в сторону, стрелять из автоматов то справа, то слева, бросать гранаты во все сто-

роны и кричать, как можно больше кричать, чтобы враг подумал, что их много.

Несколько часов длилась сумасшедшая игра. Надо было выиграть время до рассвета. И до рассвета парень из Горловки спасал итальянских женщин и детей. Здесь в бою, проявив чудеса храбрости, советский человек, итальянский партизан Федор Поетан погиб.

Люди, которых он спас, нашли его растерзанное, растоптанное врагами тело и несколько километров уносили с собой, чтобы потом похоронить как героя. За беспримерное мужество Федор Поетан был награжден Золотой медалью — высшей наградой, которой давным-давно не отмечался в Италии ни один иностранец.

Когда мы уходили с генуэзского кладбища, потрясенные и взволнованные, неотрывно глядели на нас широко расставленные и строгие глаза Федора Поетана.

— Знаешь,— сказал мне Бруно уже вечером,— учительница заметила дочери Черавало, что Гарибальди «слишком русский». Интересно, что бы она сказала о Федоре Поетане, что он «слишком итальянец»?! — Бруно плотно потер руки, пристукнул ладонями и произнес: — Я знаю, вы не откажетесь от Гарибальди, а мы не откажемся от Федора. Так и передай друзьям в Москве: мы считаем Поетана гражданином Генуи.

После опубликования этого очерка в итальянской печати появились новые данные о подвиге Федора Поетана. Как выяснилось, Федор Александрович Поетан родился в Москве, в 1909 году, по профессии — кузнец. Очерк итальянских журналистов Д. Пароди и Д. Джимелли «Гигант Федор» из журнала «Vie nuove» опубликован в газете «Московский комсомолец» 7 мая 1959 года.

ОБМАНЧИВАЯ ТИШИНА



Перелетев Ла-Плату, мы вновь приземлились в Монтевидео. Три недели назад, когда группа советских журналистов спешила отсюда в Буэнос-Айрес, в Уругвае была осень, а теперь здесь текли зимние дни. Низкие серо-черные тучи ползли не только по небу, тяжелые от холодной влаги, они опускались прямо на землю, и непрерывно моросил осенний, унылый дождь. Ветер с моря — так называют уругвайцы Ла-Плату — кружил по улицам пригоршни крупных желтых листьев, и они казались стайками диковинных птиц, заблудившихся между домами. Ночью ветер рвал с петель деревянные решетчатые ставни на окнах гостиницы «Парк-отель», где мы остановились, и здание ее, расположенное на самом берегу громадной реки, напоминало большой корабль, вот-вот готовый поднять якоря и пуститься в бурное плавание.

Что поражает, когда вы оказываетесь в Монтевидео? Чем отличается этот миллионный город от своего близкого соседа — Буэнос-Айреса? Здесь тихо! Даже очень тихо. Когда идешь вечерней набережной, а она тянется бесконечно долго, можно не встретить ни одного прохожего, и только красавицы-пальмы машут кому-то своими широкими листьями-лапами.

При беглом знакомстве Монтевидео может показаться благопристойным буржуазным городом, чистым, уютным и зеленым. Его вроде бы обошли политические страсти, а медленная, чинная жизнь здесь, похоже, от века не нарушалась никакими бурными событиями. Но так ли это? Стоит вспомнить, что под стенами города сражался итальянец Джузеппе Гарибальди, оставивший Италию, чтобы и на чужих, дальних берегах пролить кровь за свободу. Стоит вспомнить, что с начала XIX века и до его середины здесь шла непрерывная битва между Португалией, Испанией, Бразилией, Аргентиной за обладание Уругваем. И хищные щупальца английских и французских колонизаторов тоже тянулись к благодатным землям Восточного берега. Но, может быть, все уже в прошлом, в далекой истории и теперь на краю земли существует тихая обитель?!

В тот день, когда мы приехали в город, шла всеобщая забастовка солидарности. Трудящиеся выступали против ограничения профсоюзной деятельности, требовали открытия мясохладобоен, так как более 6 тысяч рабочих оказались выброшенными на осенние тихие улицы города.

Шесть тысяч человек! Они прибавились к тем 70 или 100 тысячам безработных, о которых с тревогой пишет уругвайская печать. Ведь это примерно треть занятых на производстве граждан. Каждый третий не имеет работы! Разве такое не заставит вас насторожиться?! В квартирах этих людей тихо. Не смеются дети. Взрослые говорят вполголоса. И царит в рабочих кварталах гнетущая тишина. Против нее выступает рабочее братство. Оно остановило в тот день городской транспорт, выключило горячую воду, перестало варить обеды для туристов, не выпустило газет. Один день длилась забастовка. Но и за двадцать четыре часа политические деятели государства особенно остро почувствовали: надо предпринять какие-то важные шаги для улучшения дел в стране, для улучшения жизни простого человека.

Уругвай — маленькое государство. Оно почти полностью ввозит промышленное оборудование и сырье, есть только свой мрамор. Хотели было найти здесь нефть, уже израсходовали 40 миллионов долларов на ее поиски, но ведь разведку ведут фирмы США, которым значительно выгоднее продавать сюда свою нефть. Восторжествовал принцип: «Чего не хочешь, того не найдешь».

Три миллиона жителей в Уругвае. Заняты они главным образом в животноводстве: мясо и шерсть — основные статьи экспорта. Торговля традиционными товарами создает экономическое равновесие в стране. Но о каком равновесии может идти речь, если в 1956 году экспорт был равен 211 миллионам долларов, а в 1957 году — 128 миллионам? Пассивный баланс в торговле за прошлый год равнялся 100 миллионам долларов. Страна катастрофически беднеет, и это прежде всего отражается на жизни рабочих, фермеров, батраков.

Почему так происходит? Вот один из примеров.

«Артигас» и «Свифт» — крупнейшие в стране бойни. Их продукция во многом определяет экономическое положение государства. Но находятся эти предприятия в руках североамериканских компаний. Годами дельцы из США «перегоняли» мясо в золотые слитки, которые хранились отнюдь не в подвалах уругвайской казны. С каждым годом грабеж становился наглее. А совсем недавно владельцы вообще остановили комбинаты, уволили рабочих, заявили, что ввиду убыточности (?!) они требуют чуть ли не дотации у правительства. Страна возмутилась, услышав такое. По предложению депутата Арисменди была создана парламентская комиссия, которая занялась делами боен. Прогрессивная печать опубликовала материалы, говорящие о злоупотреблениях, махинациях, спекулятивных сделках, которые за спиной властей совершали эти компании. Вокруг «Артигас» и «Свифт» развернулась серьезная политическая борьба. Дело шло не только об экономических проблемах, но и о политическом престиже. Ведь, по сути дела, иностранные компании начинали навязывать государству свои требования. Широкие круги парламентариев, придерживающиеся различных политических взглядов, выступили с протестами. В ноябре в Уругвае произойдут выборы, и, естественно, позиции партий взвешиваются избирателями в зависимости от того, что эти партии предлагают предпринять в отношении мясохладобоен. Есть разные предложения: от экспроприации до выкупа. Во всяком случае, отнюдь не тихие бои предстоят уругвайским трудящимся, чтобы отстоять право на развитие национальной экономики.

Так же сложно и противоречиво развиваются дела и в шерстяной промышленности. Мы побывали на самой большой текстильной фабрике Монтевидео, которая обраба-

тывает одну четвертую часть шерсти, производящейся во всей стране,— примерно 25 миллионов килограммов. Провожал нас по фабрике ее коммерческий директор Марио Морлан. Любопытно было посмотреть это современное и хорошо поставленное производство, где ежедневно «раздевают» около 20 тысяч овец. Но уже в сортировочном цехе господин Морлан сказал нам, что сейчас на фабрике мал запас шерсти. Позже мы узнали, что четыре месяца фабрика вообще не работала: с одной стороны, не было сбыта шерсти и материалов, с другой — помещики не продавали шерсти, набивали цену. Только крупные закупки шерсти торгующими предприятиями социалистических стран позволили в последнее время несколько оживить дела. Поэтому повсюду газеты писали, что равная и взаимовыгодная торговля должна стать главным в экономической политике правительства.

О торговле с СССР, Китаем и другими странами социалистического лагеря говорят сейчас все больше. В редакции правительственной газеты «Аксьон» нас встретил сенатор Троколи — политический директор газеты. Г-н Троколи был в Советском Союзе и поэтому, как он выразился, считал себя обязанным оказать внимание советским журналистам. Уже в начале разговора сенатор заявил:

— Мы хотим торговать с вами без посредников. Зачем же нам продавать товары, к примеру, Голландии и ждать, когда она продаст их вам? Торговля между нашими странами должна развиваться, ибо у нас нет оснований делать различие между рынками. Сейчас мы проводим первые закупки вашей нефти. И я уверен, что это явится хорошим предзнаменованием.

Трудно было не согласиться с сенатором. И хотя он принадлежит к правительственной, правящей партии, его слова совпали с теми, что мы услышали в коммунистической газете «Популяр», которую посетили несколько дней спустя. Главный редактор газеты Энрике Родригес подчеркнул, какое значение для трудящихся Уругвая имеет пример нашей страны. Когда Родригес говорил о Советском Союзе, старый человек с худым, несколько осунувшимся лицом и добрыми, удивительно мягкими глазами совсем по-юношески воскликнул:

— Да, да, ты прав, Родригес! — и крепко хлопнул стоящего с ним рядом парня по плечу.

— Вы не знаете, кто это? — обратился ко мне сосед.— Это ведь товарищ Пинтос, один из старейших коммунистов Уругвая, человек, который видел Ленина, единственный уругваец, который слышал Ленина,— еще раз с гордостью подчеркнул он.

Из редакции мы вышли вместе с товарищем Пинтосом. Ему за семьдесят. Но чувствуется, что человек умеет бороться с «атакой лет», как шутливо заметил редактор газеты. Он прибавил:

— Товарищ Пинтос — старейшина нашей печати, но отдых — занятие не для него, и сейчас он вместе с молодыми журналистами газеты пишет рабочую историю Уругвая.

Энрике Родригес вернулся в газету, а мы решили пройтись по городу. На тихих улочках, как шпалеры войск,— крона к кроне — деревья. Дома двух — трехэтажные. Лишь изредка врывается в их порядки горделивый десятиэтажный собрат. В центре знаменитое здание Паласио Сальво, похожее на сидящего орла. В нем расположились учреждения, а на верхних этажах сдают внаем квартиры. А вот и прекрасный монумент скульптора Беллони «Карета». Кони из бронзы мчат куда-то первых путешественников Уругвая. Карета накренилась, и всадник рядом взмахнул хлыстом, хочет заставить лошадей вытащить повозку из ямы.

Товарищ Пинтос неторопливо рассказывает о городе, чувствуется, он знает и любит его. Название города, оказывается, произошло так: португальский моряк увидел с корабля землю и воскликнул: «Монте виде эо!» («Вижу гору!»). Эта гора возвышается над столицей, и возле старых испанских пушек, направленных на Монтевидео, сейчас целыми днями копошатся дети, играют в пиратов. А в старой части города мы увидели изумительный по простоте памятник индейцам чарруас — первым жителям Уругвая. Четыре бронзовые фигурки у костерка. Разрослось дерево над памятником, прикрыло от дождей своими ветвями одинокую семью. Я рассказываю товарищу Пинтосу о наших новых знакомых: скульпторе Гансалесе, карикатуристе Пелодуро, художнике Эрнандосе,— с которыми за день до этого мы до ночи проспорили о судьбах искусства, о реализме, народности и, конечно, об абстрактных веяниях.

— Кое-кого из них я знаю,— заметил товарищ Пинтос.— Гансалес работает сейчас над памятником герою страны Артигасу. Огромная белая лошадь не поместилась в мастерской и стоит под открытым небом. Ее уже знают все в нашем городе, и, когда скульптор вызывает такси, он просто говорит: «Приезжайте к белой лошади»,— и все понятно. Вот вы говорили об абстракционистах,— продолжает товарищ Пинтос,— но, позвольте, какой народ согласится на то, чтобы памятник герою был похож на бесформенное чучело?! Это маразм, а не искусство,— зло бросает старик.

Мы шли уже довольно долго, и я все ждал минуты, когда сам товарищ Пинтос заговорит о Владимире Ильиче Ленине. И он начал, но обращался не ко мне, а будто для себя тихо произносил слова. Седые брови его распрямились, и весь он казался моложе, и внутреннее воодушевление отразилось на его лице:

— Ленин был в те дни болен. Даже члены ЦК его мало видели: шел ведь 1922 год! Делегаты IV конгресса Интернационала по утрам с тревогой открывали газеты: там сообщали о здоровье Владимира Ильича.

Заседания конгресса шли в Андреевском зале. Однажды вошел в зал простой усталый человек с немного опущенными плечами. «Ленин!» — беззвучно проговорили, как выдохнули, все мы.

Владимир Ильич произносил речь по-немецки, иногда он внимательно смотрел в зал и повторял фразу, чтобы его лучше поняли. Он кончил речь, и мы ответили ей «Интернационалом».

— «Это есть наш последний и решительный бой...» — едва слышно произнес товарищ Пинтос.

— Через два дня,— вернулся к воспоминаниям старый человек,— я вновь еще ближе увидел товарища Ленина. Шло заседание латинской секции Интернационала, и Владимир Ильич разбирался со спором в Итальянской коммунистической партии. На этот раз я подошел к Владимиру Ильичу и пожал ему руку, и Ленин по-французски сказал мне несколько приветственных слов.

Мне было тогда примерно столько же лет, сколько вам,— улыбнулся товарищ Пинтос,— а какие события свершились за эти годы! Если б увидел свою Родину Владимир Ильич Ленин, если б увидел нас — миллионы своих братьев по идеалам! Но это мечты, идеализм,—

как-то досадливо махнул рукой старик.— Скажите лучше, что поразило вас в Монтевидео?

Я подумал секунду и ответил:

— Пожалуй, тишина!

— Тишина...— как-то задумчиво проговорил собеседник.— Вы ведь были в парламенте?

— Да, были!

— Помните, там главный зал? Он называется «Залом потерянных шагов». Мрамор из Лавалеха — близ Монтевидео — обладает удивительным свойством: он поглощает звуки, и сколько бы народу ни ходило по залу, там тихо.

— Тишина,— вновь улыбнулся товарищ Пинтос,— иногда это обманчивая штука...

Город спал. Но теперь, после слов старого уругвайца, мне слышались за гранью тишины и горячие споры в парламенте, казалось, мрамор из Лавалеха отдавал все звуки, что он копил годами, и щелканье бича возницы «Кареты», и голоса женщин с детьми на руках возле боен «Артигас» и «Свифт». Очень скоро перестаешь верить тишине в Монтевидео. Да, прав товарищ Пинтос, это обманчивая тишина.

ЧУКИКАМАТА

— Айм глэд ту сии юу! [1] — представился нам в Антофагасте пожилой господин с холодными карими глазами.— Я Беккер, управляющий рудника,— добавил он на ломаном испанском языке.— Прошу в мой кар.

Так мы начали знакомство со знаменитыми медными месторождениями Чили, со знаменитой Чукикаматой. Смысл таинственного имени маленького поселка расшифровывается довольно просто. Чуки — название индейского племени, истребленного испанскими колонизаторами много десятилетий тому назад, Камато — место встречи племени. Но повсюду в Чили, да и во многих других государствах знают о Чукикамате совсем не потому, что с поселком связаны какие-то романтичные, легендарные истории прошлого. На самом деле все прозаичнее и, конечно, зна-

[1] Рад вас видеть (*англ.*).

чительнее вместе с тем. Когда несколько советских журналистов добились, наконец, разрешения посетить Чукикамату, видная публицистка из Сант-Яго Ленка Франулич сказала: «Да там ведь нечего смотреть!»

Да, там смотреть действительно нечего. От порта Антофагаста, что лежит на берегу Тихого океана, до медного городка 160 километров пути. Это гористая, безжизненная пустыня Атакама. Она то желто-красная, потрескавшаяся, напоминающая кожу какого-то диковинного животного, то серо-черная, и тогда зализанные складчатые горы ее кажутся стадами гигантских слонов, прилегших на отдых по горизонту.

Степное раздолье рождает одни чувства и воспоминания, лесное царство — другие, море — третьи. Но как бы ни разнились они, их объединяет торжественное и щемящее душу ощущение радости и внутренней легкости, подъема. Это особенно знают горожане. Недаром, когда человек вырывается из каменных лабиринтов улиц на природу, он будто молодеет, и заботы отступают от него. Пустыня заставляет сосредоточиться и как-то сковывает, принижает, навевает уныние. И пусть вы двигаетесь не с медленным караваном по сыпучим пескам, а мчитесь на автомобиле по хорошему шоссе, все равно пустыня делает свое дело.

Так было и с нами, когда мы спешили из Антофагасты в Чукикамату. Каждый школьник знает, что Чили славится огромными запасами меди, что по мировому производству этого металла страна занимает одно из первых мест на земном шаре. Чукикамата — столица медной промышленности Чили.

Управляющий сам сидел за рулем и, видно, был неслововоохотливым человеком. За всю дорогу мы узнали от него лишь, что еще в 1513 году испанский генерал Диего Альмагро обнаружил в районе Чукикаматы маленькие медные шахты. Индейцы, жившие здесь, употребляли металл на украшения, утварь, оружие. Генерал приказал подковать войсковых лошадей медными подковами, перерезал и перестрелял индейцев и ускакал. А теперь североамериканский делец из Нью-Йорка, внешне совсем не похожий на бравого испанского вояку, со скоростью 120 километров в час вез нас на «Форде» производства 1957 года в свои владения, в свою Чукикамату. Я не оговорился, это именно так. Пусть вас не удивляет, что рудник лежит не

на территории Соединенных Штатов Америки и от конторы компании «Анаконда», что расположилась где-то в уолл-стритовском мире, до него тысячи миль пути. Господин Беккер еще все нам расскажет и покажет. Будем терпеливы!

Ранним вечером мы миновали въездную арку, возле которой толпилось с дюжину полицейских, вооруженных, как для серьезной обороны. Они козырнули машинам, и господин Беккер тоже приветствовал их жестом усталого главнокомандующего. Едва мы оказались в домике-гостинице, где принимают гостей компании, как снова вооруженный парень осведомился, все ли журналисты приехали, нет ли еще кого-нибудь с нами и сколько дней мы собираемся пробыть в Чукикамате.

Словом, все выглядело весьма любезно, предупредительно, и мы поняли, что нечего опасаться налета какого-нибудь дикого племени или гангстерской банды. Видно было: г-н Беккер — решительный человек и при необходимости для защиты интересов граждан поселка готов вызвать и батальон морской пехоты, благо Тихий океан расположен невдалеке. Мы, правда, не могли лишить себя удовольствия и спросили управляющего о задачах вооруженных сил в данном районе.

— О, да, да, вы правы,— не переводя дыхания, выпалил он.— Нам совсем не нужна полиция. Но...— и тяжелый, сострадательный вздох раздался в комнате: — чилийские власти просят нас содержать военные отряды для спокойствия... жен рудокопов.— Господин Беккер доверительно пояснил мысль: — Антофагаста — порт; там, знаете ли, вино, женщины, и мужья не прочь развлечься...

«Нет, положительно г-н Беккер — очаровательный и дальнозоркий мужчина! — решили мы.— Какое значение имеет тот факт, что до Антофагасты около двухсот километров пустынного пути, что поселок не связан с портом никаким транспортом и единственный способ добраться до Антофагасты с ее манящими прелестями — попросить на день красивую машину у самого управляющего!»

Но я еще вернусь к ценным наблюдениям и замечаниям хозяина-распорядителя Чукикаматы. Пока не село солнце, давайте взглянем на поселок, на карьер, где добывают руду. Живет в Чукикамате 25 тысяч человек. 6 300 из них работают. Дома рудокопов — низенькие, невзрачные, под одной крышей, тянущейся на десятки мет-

ров, вплотную примыкают к карьеру. Когда смотришь на поселок с высокой точки, кажется, ряды бараков стоят на ступенях колоссальной лестницы. А все вокруг напоминает увеличенный в сотню раз стадион, и в центре его громадная овальной формы воронка почти полукилометровой глубины. Смотришь вниз, на ее крутые склоны, по которым движутся 80-тонные электровозы с вагонами медной руды, и дух замирает: какое натворил здесь маленький человечишка, едва видимый на дне этого искусственного кратера!

Миллионы тонн руды с 1915 года по сегодняшний день выгребла отсюда, пустила на обогатительную фабрику и в переплавку компания «Анаконда». Ну и придумали же название компании ее дельцы! Анаконда — могучая змея, насмерть сжимающая в объятиях свою жертву.

В три смены, не прекращаясь ни на минуту, идет на руднике работа. Взрывы поднимают в воздух до двухсот тысяч тонн породы одновременно. Глыбы взлетают высоко в воздух, а затем каменный дождь с глухим раскатистым грохотом оседает на дно карьера. В этих глыбах — один из самых высоких в мире процент меди. И когда думаешь об этом, когда слышишь шум каменного дождя, он представляется тебе не каменным, а золотым, и сыплется, сыплется золото в сейфы «Анаконды», в карманы дельцов, которые и не знают, как там живут люди, в этой самой Чукикамате.

Как живут они? Здесь всегда голубое, невинное и безоблачное небо. Можно радоваться, но люди никогда не бросают ласкового взора вверх. За последние несколько лет из этого голубого безмолвия не упало ни капли дождя, и вода в Чукикамате — самое дорогое и самое желанное Поселок расположен на высоте трех тысяч метров над уровнем моря, и даже ходить здесь тяжело: несколько поспешных движений — и сердце предупреждает тебя, стучит, торопится. Днем сорок градусов жары, ночью — холод. Так все дни года. И лица у рудокопов, как и земля вокруг, в трещинах и складках. По ночам к взрывам, будто желая помочь динамиту, присоединяются толчки землетрясений.

Ночью мы проснулись от такого сильного удара, вышли на крыльцо. Причудливых, зловещих красок пламя полыхало над комбинатом, окрашивало клубы дыма, и он, гонимый ветром, наползал на домики, и чудилось, вот-

вот испепелит их. Подмигивая карманными фонариками, шли со смены рудокопы.

— Часто у вас так трясет землю? — спросили мы одного из них.

— Дети не просыпаются, привыкли,— холодно отрезал он и зашагал в гору.

Было понятно, почему именно так ответил рудокоп: ведь мы стояли возле домика для гостей компании, для гостей «Анаконды».

Дети не просыпаются от взрывов и землетрясений?! Жены просят содержать полицию?! Богатства чилийской земли принадлежат компании США — медь идет в североамериканские порты, и Чили не может продавать ее без разрешения Соединенных Штатов Америки. Было над чем задуматься. На следующий день мы дали г-ну Беккеру в полной мере проявить свои ораторские способности.

Объехав комбинат, обойдя почти все его цехи, от первого, куда поступает руда, до того, где подобно большим рыбинам лежат красно-золотистые медные отливки, мы вернулись в гостиницу и несколько часов слушали управляющего. Беседовал он с нами запросто, не утруждая себя доказательствами или, вернее, не заботясь о том, согласны ли мы с ним. В этом чувствовалась многолетняя привычка повелевать. Начал г-н Беккер с философского обобщения:

— Вы приехали из страны, где, как говорят, построен социализм. Может быть,— согласился управляющий.— Но здесь я один, без Маркса и без революции, сам построил социализм.— Г-н Беккер вопросительно поднял голову.— Да, да, не удивляйтесь и не спешите,— продолжал он. Но мы молчали и не удивлялись.— Послушайте, и судите сами,— заметил Беккер.— Рабочие у нас не платят за жилье, воду и свет. Все бесплатно, за все вношу деньги я, Беккер. Разве это не социализм?!

— Но сколько все-таки зарабатывают рудокопы? — спросили мы хозяина.

— От 600 до 1 000 песо в день.

Чтобы не обидеть г-на Беккера неточностью, мы переспросили его и только тогда записали цифры в книжечки. Они, эти цифры, как будто смутили на секунду американца: ведь таких денег хватит лишь на пяток бутербродов,— но он тут же добавил:

— Названная сумма — часть оплаты за труд.

Из новой речи мы узнали, что в Чукикамате действует

система заборных книжек, или бон. Для каждого рабочего положено на семью какое-то количество пар ботинок, штанов, килограммов муки, крупы. Причем все товары и продукты можно получить только в лавках компании. Никаких других магазинов в Чукикамате нет. Тут уж мы не стерпели и заметили управляющему, что сорок с лишним лет тому назад русский рабочий класс поднялся и против подобных хозяйских лавчонок, которые закабаляют и порабощают человека. И, поскольку г-н Беккер считал себя социалистом, спросили его:

— А почему бы вам не выплачивать рабочим деньги сполна?

— Может быть, вы правы,— неожиданно быстро согласился управляющий и, видно забыв, каким образом он объяснил присутствие полицейских в Чукикамате, прибавил: — Но жены... Вы знаете, Антофагаста — порт, там вино...

— И женщины,— поспешили мы на помощь философу.

— О, вы догадливые мужчины!

— Но ведь специалистам из США вы платите, г-н Беккер, долларами, и, конечно, они обходятся без ваших бон?!

Вопрос привел управляющего в неподдельное удивление. Он глядел на нас с чувством жалости, как учитель на непослушных и бестолковых учеников, в сотый раз не усвоивших элементарной истины.

— Вы говорите об американских инженерах? Но ведь они интеллигентные люди! — И г-на Беккера прорвало. Куда девалась холодная сдержанность и игривая простота. Он заспешил, заторопился, и мы увидели его наконец таким, каким он был на самом деле. Он обвинял чилийских коммерсантов в неумении торговать («Они хотят наживаться на нас!»), чилийские власти — в потворстве этим торговцам, чилийских рабочих — в стремлении к буитам и т. д.

— Судите сами,— управляющий заговорил теперь так, будто выступал на заседании совета компаньонов «Анаконды», и в речи его уже не слышалось «социалистической терминологии».— Недавно мы решили купить два миллиона мешков цемента. В Чили есть цементные заводы. Но нас не устраивала цена. Мы добились разрешения купить цемент за границей, в Швеции: там про-

дали дешевле. И что же? Выиграли мы и Чили. Не понимаете, почему это выгодно Чили?! Чилийские заводы сбавили цену, и таким образом мы приучили их к порядку. Да! — горячился Беккер, и ему, как рыбе в пересохшем пруду, не хватало воздуха.— Мы помогаем Чили именно тем, что не покупаем здесь товаров, а ввозим их из США. Пусть развивают промышленность, конкурируют: у нас ведь свободный мир.

Свободный мир, конкуренция... О чем говорил с нами этот взрослый человек? Ведь он сидел на чилийской земле, распоряжался чилийскими богатствами, издевался над чилийцами и еще смел высокопарно поучать их! Мы смотрели на этого гражданина из «свободного мира», в присутствии которого ни один рабочий не решился подойти к нам, и думали: «Чем сей джентльмен отличается от тех испанцев-конквистадоров, что четыре века назад вырезали здесь индейские племена?»

Да, внешне он выглядит по-другому. Господин Беккер разрешает рабочим не платить за жилье. Но ведь и в данном случае благотворительность продумана. Если рудокоп хотя бы два раза по любой причине не выходит на работу, его выбрасывают с предприятия, а заодно и из жалкой «бесплатной» каморки прямо под голубое небо пустыни. Представьте себе, каково с семьей, детьми попасть в такое положение, в немилость к г-ну Беккеру!

Есть тысячи других способов, с помощью которых компания пытается сломить дух чилийских рабочих. Она делает это медленно, упорно, но и хитроумно. Компания издает бесплатную газетенку «Оазис», выпускает рекламные журнальчики «Наши молодожены» и что-то в этом духе. Двадцатый век не шестнадцатый, и колонизаторам приходится ловчить.

Да, двадцатый век не шестнадцатый. И люди в Чили — рабочие, политические деятели, интеллигенты — видят, в чем смысл действий современных конквистадоров. Господин Беккер не рассказал нам об этом в Чукикамате, но в Сант-Яго мы узнали, что перед нашим приездом рудокопы бастовали 51 день непрерывно. Они требовали отмены бон и полной оплаты за труд, они выступали против «беккеровского социализма».

Но г-н Беккер придумал новую хитрость. Оказывается, к нему вновь обратились жены рудокопов и попросили его половину заработной платы их мужей отклады-

вать на сберегательную книжку. Ведь Антофагаста — порт, там вино и прочие соблазны... Предполагают, что деньги, которые будут откладываться на книжку, могут быть получены лишь с согласия компании. Не правда ли, остроумно?! Нет, все-таки г-н Беккер забывает, что он живет в двадцатом веке, и придет час — этот век непременно напомнит ему о себе.

ЦВЕТОК ДОБРОЙ НОЧИ

В Аргентину мы попали неожиданно. В Москве визы получить не удалось и решено было запросить их из Монтевидео, столицы Уругвая. Но уже на аэродроме сотрудники советской миссии предупредили, что аргентинский консул не ложится спать, ждет наших паспортов: из Буэнос-Айреса пришло распоряжение срочно оформить для советских журналистов въезд в Аргентину.

Она была совсем близко. Нас отделяла от нее лишь река Ла-Плата. Эта водная громадина почти 300-километровой ширины может скорее считаться океанским заливом, и только желтая, илистая и пресная вода свидетельствует о ее речном происхождении.

Наконец, как говорят, последний прыжок, и теперь уж не только тихий Копенгаген и настороженный Лиссабон — короткие вехи нашего пути,— но даже Рио-де-Жанейро, красавец-город на берегу океана, за тысячи километров от нас. Ночь. Только огоньки судов внизу и странно крупные, не виданные прежде звезды подмигивают, трепещут, переливаются, как будто играют с самолетом в веселую игру. И самолет, покачиваясь и ныряя в неглубокие воздушные ямы, тоже подмигивает звездам своими зелеными и красными сигнальными огоньками.

Как ни устали, не спится. Да и лететь всего сорок минут. Там, за рекой,— Аргентина, а сегодня 30 апреля, и невольно уносишься к дому, к Красной площади, к нашему Маю. Но он далеко от нас. На часах девять, а в Москве уже раннее утро, и, наверное, в окна москвичей льется едва уловимый весенний запах проснувшихся лип.

Завтра в Буэнос-Айресе тоже праздничный день. В Розовом дворце произойдет передача власти законно

избранному президенту доктору Артуро Фрондиси, а генерал Арамбуру, последний военный диктатор республики, удалится в свое имение. Мы и получили визы так быстро потому, что аргентинские власти хотели, чтобы советские журналисты присутствовали на этой знаменательной церемонии. Именно знаменательной! Все три недели, что нам довелось провести в Аргентине, и в пятимиллионной столице и в городе Жужуй с 50 тысячами жителей, беседуя с рыбаками и кинозвездами, политическими деятелями и писателями, мы чувствовали нервнобудоражную приподнятость нации, гордость и ожидание важных дел и решений. С именем президента Артуро Фрондиси люди связывают надежды на национальную самостоятельность, на разумную, мирную политику, на культурные и торговые контакты. И даже те, кто сами считают себя обывателями, «мирными гражданами», далекими от больших дел,— даже они рады: ведь после тревожных дней правления генерала Перона, изгнанного сейчас из страны, после бесчисленных военных хунт, внезапно приходивших в Розовый дворец, и восстаний адмиралов, дравшихся «за место под солнцем Аргентины», все хотят отдыха и умиротворения.

Шел пышный парад перед президентской трибуной. Гвардейцы полка Сан-Мартина в ярко-синих куртках и белых брюках навыпуск, подбрасывая руки, как во время исполнения гимнастических движений, замыкали строй пехотинцев. На площади блеск сабель, золото погон и медь касок и нагрудников смешались с отблеском дорогих украшений на знатных дамах. Оркестры мешали друг другу маршами; реактивные самолеты, проносясь над улицами, поднимали на дыбы лошадей, запряженных в пулеметные тачанки; аромат духов, сдобренный порцией конского пота, витал над толпой. То и дело взлетали листовки и долго кружились в воздухе. Казалось, это не ветер, а дыхание людей не дает им опуститься на землю. Проплывали над рядами связки красивых шариков, а на ниточках — портреты генерала Перона. Даже здесь, на торжестве, шла борьба, и портреты генерала предупреждали простодушных.

А в эти же часы на Кубе гремели выстрелы и умирали люди. Там тоже надоели военные диктаторы. И если говорить о главном, что определяет сейчас политические настроения всей Латинской Америки,— это движение

против генеральских заговоров, против боссов из «Юнайтед фрут компани» и подобных ей «частных» предприятий, мечтающих назначать угодных и безропотных правителей.

Исторический фон, на котором разрастаются подобные движения, различен. Нет Латинской Америки вообще, есть Аргентина и Панама, Перу и Бразилия, Эквадор и Гватемала, Чили и Боливия. Как не похожи люди друг на друга, так и эти страны, лежащие на общей земле, по-своему отыскивают пути в будущее. Но повсюду его ищут, это будущее, и действуют во имя него. И потому я должен рассказать сейчас не о красотах ночной улицы Кориентас, которая, как выразился писатель Варела, «не отпускает человека из своих объятий до утра», и не о щемящем душу аргентинском танго. Я хочу рассказать о человеке и о цветке, что нежно зовется Доброй ночи. Я хочу рассказать о Мариа Роса Оливер.

В сентябре Мариа Роса Оливер исполнится 60 лет. Она помнит Буэнос-Айрес еще не таким шумным и пестрым городом, как сейчас. Помнит, как пришло известие о Великом Октябре в Аргентину и как спорили ораторы на политических манифестациях о Владимире Ильиче Ленине и большевиках. Мариа Роса выросла и получила воспитание в богатой, буржуазно-помещичьей семье, семье большой и сложной.

— Представьте,— улыбается она воспоминаниям,— одних спален в нашем доме было больше пятидесяти.

Вместе с друзьями я сижу уже несколько часов в ее скромной комнате на улице Гидо, 1521, и не отрываясь пишу, удивляясь лишь неутомимости этой больной женщины, прикованной к креслу с колесиками. Иногда бесшумно входит Пепа — так ласково называют друзья компаньонку Роса Оливер Фосефу Фрейре — и наливает нам чай. Пепа — католичка, но при всей религиозной убежденности она смотрит на вещи широко и свободно. Вот уже 25 лет они вместе с Мариа Роса и, как замечают обе, «все 25 лет непрерывно спорим». Пепа, пожалуй, согласна кое с какими положениями марксизма, но она непременно связывает их с христианским учением и не желает сдавать позиции. Так они и живут, две немолодые женщины, и судьба, связавшая их, не торопится совершать своих превращений и ставить точки над «и». Пепа остает-

ся поклонницей девы Марии. Вот что рассказывает о себе Роса Оливер:

— Моя мать была очень богатой женщиной, но не жадной и не сварливой. Мне важен ее пример: она приучила нас к труду, все делала сама, хотя и могла иметь много служанок. В то время воспитание детей в Аргентине начиналось с изучения языков. Дед мой, адвокат, так и поступил с нами. Национальное самосознание в те годы еще было не очень высоким, и все мы немножко хотели быть похожими и на французов, и на англичан, и на немцев. Дед и отец мой были министрами экономики Аргентины, а по материнской линии наша семья связана с семьей Сан-Мартина, героя страны.

Бабушка часто вспоминала его,— замечает Мариа Роса.— Когда Сан-Мартин женился, друзья принесли на свадьбу его невесте дорогие туфли, но он вернул их и резко сказал, что жене солдата такие вещи не нужны: ей ведь предстоит шагать с мужем в походах.

В 10 лет меня разбил паралич,— продолжает Мариа Роса.— Но, пожалуй,— она как-то помедлила,— это не очень меня опечалило. Мне даже нравилось лежать и лежать и читать сколько угодно. Большего наслаждения в те годы я не испытывала. А потом родители повезли всех детей в Европу. Театры, выставки. Помню, однажды мать пришла пожелать нам спокойной ночи, и сестры стали жаловаться ей, что меньше развлекаются, чем я. И мать шепотом, со слезами их успокоила: «Не завидуйте, девочки. Вы еще вернетесь в Европу, а Мариа никогда. Она всю жизнь просидит одиноко в своей комнате».

Роса Оливер не говорила мне этого, но я думал, глядя на нее, как, должно быть, сложно шла ее юность, ее познание мира. Пора любви и жизнь других людей, шум городских улиц и песни ветра в пампе — все через окно в комнате, через окно в комнате, через других. Бывают натуры, впитывающие, как губки, веяния времени и чужие взгляды. Они не заботятся о своих, и подчас им легче жить. Мариа Роса Оливер не такая. Может быть, неподвижность сосредоточила ее и сделала аналитичной, а ум заставила стремиться к самостоятельности. Она должна была вырабатывать свои взгляды сама и уметь отстаивать их, потому что к ее взглядам могли относиться пренебрежительно. И она училась их отвоевывать. Книги привили ей много хорошего, но принесли известную

космополитичность во взглядах. Читая Толстого и Гюго, Достоевского и Шекспира, Брехта и Хэмингуэя, оиа легко становилась гражданкой любой страны, но ей иужио было стать гражданкой своей родины.

Цепь событий двадцатых годов толкнула Мариа Роса Оливер к этому. Дамы-патронессы в театре «Колон» награждали измученных бедных женщин медалью «За добродетель» и дарили им по сто песо, а Мариа говорила друзьям: «Вот в этих благодетельниц и я хотела бы швырнуть бомбой». Газеты иронизировали иад книгой Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», а для неподвижной девушки ее страиицы приближали к заботам собственной страны.

— Тревоги России напомнили мне, что я аргентинка,— очень сдержанно и без доли ложного пафоса говорит Мариа Роса.— Вслед за книгой Джона Рида я увлеклась произведениями писателя Хадсона. Он жил и воспитывался среди гаучо, и одна из его книг — о гражданской войне в Парагвае «Давно и далеко отсюда» — была в годы моей юности очень популярной. В 14 лет у Хадсона был сердечный удар, и ои стал мало двигаться. Но писатель начал иаблюдать природу Аргентины и знал ее, как никто. Он различал пение птиц, он мог объяснить историю каждого дерева, каждого цветка и каждой травинки. Природа связывала его с людьми и родиной. На 31-м году от роду он уехал в Англию лечиться и увез с собой из Аргентииы только маленький нежный цветок по имени Доброй ночи. Уже умирая, он вдыхал тонкий аромат, и это будило воспоминаиия, и Хадсон писал и писал о пампе и бедных крестьянах—гаучо, об их страданиях и смелости, пока не остановилось его сердце, и на груди у него лежал цветок Доброй ночи.

Анатолий Софронов, Вадим Поляковский, который слово за словом переводил рассказ Мариа Роса, и я — все мы в комнатке сидели, потрясенные этой грустной и красивой историей. А Мариа Роса добавила:

— Его книги стали для меня тем, чем был для него этот цветок. Через любовь к родной природе я иачала отходить от идей космополитичности, которые внушили мне книги разных стран. Природа привела меня к простым людям, без которых она не может жить.

В 1928 году начинается литературная деятельность Роса Оливер. Ее статьи о театре, о писательских школах

еще несут в себе формалистическое влияние, но они самобытны, остры, и очень скоро имя Оливер становится известным. Первым поддержал и поздравил ее Рикардо Гуиральдис, автор книги «Дон Сегундо Сомбра» — волнующего, поэтичного труда о любви к человеку.

Год шел за годом, и каждый из них проходил в поисках и борьбе. В период реформы конституции Мариа Роса Оливер участвует в создании «Аргентинского союза женщин», и ее избирают вице-президентом этой организации. Против деятельности союза восстала церковь. Требования политического и социального равенства женщины церковники опровергли католическими догмами. Но Роса Оливер сама цитировала евангелие. Она спрашивала: «Зачем люди стремятся к богатству, если Христос говорил, что легче верблюду пролезть через игольное ушко, чем богатому попасть на небо!» А затем новая страница борьбы. На весь мир прогремели события в Испании. Мариа Роса и сотни таких, как она, ищущих, мятущихся подчас интеллигентов, поняли в те месяцы, где они должны стоять. Мир был потрясен расстрелом выдающегося испанского поэта Гарсиа Лорки. Он был личным другом Мариа Роса. Столько часов она слушала его вдохновенные стихи! Она понимала его душой и любила в нем бесконечную жажду служения людям. И вот Лорка расстрелян. Мариа Роса очень точно и строго говорит: «Той же пулей фашистами были поражены все наши интеллигентские колебания».

Год шел за годом, и Мариа Роса Оливер, мечтательная девушка с книгами, уносившими ее во все миры и все эпохи, спустилась на землю и стала работником этой земли, и собственное несчастье отодвигалось все дальше и дальше.

И случилось, что не она, а сестры ее никогда больше не видели Европы. А Мариа Роса забыла счет изъезженным километрам (да еще, как шутит она, раза два брала с собой дочерей сестер в поездки).

У меня ушло несколько страничек в блокноте на то, чтобы кратко записать даты, страны и дела, с которыми связано имя этой титанической женщины. И хотя бы несколько таких записей я приведу здесь.

1936 год. Роса Оливер возглавляет экспериментальный театр «Занавес». В том же году она читает большой цикл лекций в институте «Аргентина — США». В 1941 го-

ду работает в «Союзе победы». 1942—1944 годы по приглашению президента Рузвельта сотрудничает в Вашингтоне в комитете по защите культуры Америки от фашизма. В те же годы читает лекции в американских университетах. И уже тогда друзья предупреждают ее: «Если ты будешь всегда говорить то, что говоришь сейчас, придет время, и тебя не пустят в США».

1948 год. Мариа Роса — одна из основательниц ассоциации «Друзья мира». В 1950 году в Варшаве ее избирают членом Всемирного Совета Мира, затем Вена, СССР, Китай, Хельсинки, Цейлон.

Неподвижная женщина двигается по всему миру.

А сколько за каждым таким движением, событием стоит волнений и какие нужны для всего этого силы?!.

Несколько лет назад мы могли прочитать в газетах сообщение о латиноамериканской конференции сторонников мира. Знаете, как шла ее организация? Два месяца Мариа Роса готовила конференцию в Рио-де-Жанейро. Но за пять дней до открытия правительство Бразилии запретило ее проводить. Оливер переносит дела в Монтевидео, но за два дня до открытия и здесь запрещают собрание. Удалось добиться разрешения на встречу в частном доме, где могло разместиться по два человека от каждой страны. А более 300 приехавших уже представителей общественности должны были вернуться по домам. Мариа Роса обращается за помощью к профсоюзам, но в залы города доступа нет. Либо в частном доме, либо на улице — таково решение властей. Очень хорошо! И вместо четырехсот шесть тысяч человек на одной из площадей Монтевидео участвуют несколько дней подряд в работе конференции...

Уже давно минул обеденный час, и Пепа устала предлагать нам чай, а конца беседы и не видно.

— Э-э, Мариа,— с грубоватой непосредственностью вступается за нас Пепа,— ты уж заговорила их окончательно.

Мариа Роса, в свою очередь, подтрунивает:

— Не хочешь ли ты прочитать им проповедь?

Мы догадываемся, что Пепа беспокоится за Оливер, и прощаемся.

— Обязательно напишите,— улыбается Мариа Роса,— что Ленинская премия Мира — величайшая награ-

да для меия. Я сделаю все возможиое, чтобы быть достойной этой премии.

Мы вышли на улицы, когда они уже были полиы предвечерией спешки. Духота не спала, и все ииже и ииже иаползали иа крыши домов дождевые тучи. Порывистый ветер доиосил из пампы — степного раздолья, окружающего Буэиос-Айрес,— запахи осеииих цветов и прижареииых солицем трав. Ла-Плата еще больше порыжела, и белогривые волиы кидались иа одииоких рыбаков у иабережиой в парке Палермо.

Незиакомый город, в котором мы жили только пять дней, стал после разговора с Мариа Роса Оливер как-то ближе и понятиее. Мы шли в гостиницу так, будто ходили уже миого лет по этим улочкам и не боялись заблудиться. На углу одного переулка девушка продавала цветы. В ее корзииочке лежал ровный рядок иемиого грустиых, ио пахучих букетиков. Люди шли торопливо, спешили с работы домой, ио многие остаиавливались и покупали цветы. Видно было, этот цветок любят, иедаром он ласково называется Доброй иочи.

СОДЕРЖАНИЕ

Алексей Иванович
АДЖУБЕЙ

НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ

Редактор **В. КУКУШКИН**

Художник **Ю. Кершин**

Технический редактор
А. Шагарина

Б 04828. Подп. к печ. 1/IX 1959 г.
Тираж 131 500 экз. Заказ № 1721.
Изд. № 1407. Форм. бум. 84×108 1/32.
Бум. лист. 1,75. Печ. лист. 5,74.
Уч.-изд. лист. 5,92.

Ордена Ленина типография газеты
«Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, ул. «Правды», 24.



1 р. 50 к.